

П О Т Е Ч К А Н А Х И М О В Ц А

П. ИГНАТОВ

ПОД КРАСНЫМ ФЛАГОМ

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОЕННО-МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА СОЮЗА ССР

МОСКВА — 1952



У САМОГО СИНЕГО МОРЯ

В детстве я не представлял себе жизни без моря и был уверен, что оно есть везде, где живут люди. Оно, пожалуй, самое яркое впечатление моего раннего детства, самая сильная привязанность, даже, можно сказать, — любовь.

Бывало, проснёшься рано-рано утром, ещё и глаза не раскроешь, а уже чувствуешь его присутствие. Так и кажется, что оно, море, где-то здесь, совсем близко. Слышишь его немолчный ласковый говор у прибрежных камней. В окно, надувая парусом занавеску, врывается его солёное, свежее дыхание. А раскроешь глаза, глянешь в окно и видишь — вот оно!.. Море!.. Огромный синий простор...

И всегда море манило, звало и никогда не могло наскучить, — расстилалось ли оно вот так, как сегодня, — тихое, безмятежное, сливаясь вдаль с голубым небом, грохотало

ли оно во время осенних штормов, грозное, устрашающее, с яростью обрушивая на берег мутные, гривастые валы...

Отчётливо помню живописную сухумскую бухту, полу-месяцем вдававшуюся в берег, окаймлённую снежно-белым кружевом прибоя, ослепительно сверкавшую в лучах южного солнца. Помню синий-синий полог неба над бухтой — ни пушинки, ни облачка на нём!

Хорошо было, разогревшись на горячем песке, вместе с ватагой загоревших до черноты ребятишек с криками и визгом бросаться в вихре брызг в тёплую воду, прозрачную, как зеленоватое стекло, сквозь которое виден каждый камешек на дне, каждая рыбка, мелькнувшая серебряной стрелой. Стараясь не отставать от старших ребят, я ещё мальчонкой научился плавать и нырять, как дельфин, и целыми днями пропадал у моря. Мать, бывало, насилу дозовётся домой обедать.

В городе — тихом, сонном, словно разомлевшем от жары, совсем непохожем на тот полный жизни красавец-город, который мы знаем теперь, — в те времена не было пристани. Был только причал для чёрных неуклюжих фелюг с заплатанными парусами. Фелюги перевозили немногочисленных пассажиров и грузы — чаще всего большие бочки с вином — на пароходы, останавливавшиеся на рейде, чуть ли не в километре от берега.

Случалось, что пароходы запаздывали, не приходили во-время, и тогда на берегу, у причала, скапливалось много бочек с вином. От них шёл густой запах перебродившего, согретого солнцем винограда. Грузчики, похожие в своих пёстрых лохмотьях и ярких повязках на головах на пиратов, загорелые, горластые молодцы, силой и удачью которых восхищались все портовые мальчишки, посылали нас, ребятишек, в бакалейную лавчонку за макаронами. Выбив у бочек деревянные пробки, они тайком пробовали, какое вино лучше, потягивая его через макароны, как через соломинку.

Конечно, это было нехорошо. И мы понимали, что это нехорошо, да и мать строго-настрого запрещала мне принимать участие в «разбое среди белого дня», как она говорила. Но я, как и все другие ребята, душой был на стороне грузчиков. Мы ведь видели, какой тяжёлой была их работа! И потом — приятно было сознавать, что помогаешь им «насолить» хозяину винных бочек, невероятно толстому лысому греку в лёгком чесучовом костюме и феске, который изредка подъезжал к причалу в красивом экипаже, развалившись на красных бархатных подушках.

Стоило только появиться в городе морякам с одного из пароходов, бросивших якорь на рейде, — и наши мальчишеские сердца принадлежали им и только им. Восторженной, почтительно молчаливой стайкой сопровождали мы моряков на базар и в маленькие полутёмные лавчонки, в которые они заглядывали, прицениваясь от нечего делать к нехитрым товарам.

В наших глазах моряки — эти люди в полосатых тельняшках, видневшихся из-под распахнутых на груди курток или блуз, с загорелыми лицами, сильными мускулистыми руками, шагавшие не торопясь, в развалочку, по середине улицы, — были необыкновенными героями. Казалось, с их появлением в нашу тихую, однообразную жизнь врывался тревожащий воображение ветер дальних странствий по морям и океанам к берегам сказочных стран. И не было среди нас такого мальчугана, который не хотел бы в то время быть моряком! Разумеется, и я не отставал от других ребяташек в этих мечтах...

Впрочем, не ко всем морякам мы относились одинаково. Случалось, правда довольно редко, что в городе появлялись «заморские гости» — моряки с иностранных кораблей. Это были «чужаки». И держались они, как чужие, — обособленно, надменно. Даже мы, ребяташки, чувствовали, что эти люди с непонятной речью, холодными глазами презирают всё и всех в нашем солнечном городке.

Чаще всего это были матросы с английских, американских или французских кораблей.

Вот так и стоит перед глазами запомнившаяся сценка... Посередине улицы, поднимая пыль грубыми ботинками на толстой подошве, шагают, по-журавлиному поднимая ноги, два длинных, как жерди, сухопарых парня. Они идут плечо к плечу, засунув руки в карманы широких штанов, изредка обмениваясь короткими, похожими на лай словами. Одеты они в какие-то странные коротенькие курточки со множеством карманов и пуговиц. Пёстрые кепки с полуманными козырьками сдвинуты с затылка на самые брови. Это — матросы с чёрного, грязного на вид парохода, вот уже третий день стоящего на рейде. На его мачте болтается полосатый флаг, похожий на лоскут материи, из которой шьют матрацы. Это — торговый американский пароход.

Американские матросы идут, не глядя по сторонам. Неожиданно на перекрёстке из-за угла, прямо навстречу им, выбегает смуглый босоногий мальчуган лет пяти-шести. Американцы, не замедляя шага, сбивают мальчика с ног и продолжают свой путь, даже не взглянув на плачущего ребёнка, лежащего в пыли. Но не все «чужаки» держали себя так.

Как-то раз к нашей ребячьей компании примкнул на берегу китаец — кок с французского грузового парохода, несколько дней стоявшего на рейде. Китаец ни слова не знал по-русски, но мы с детской восприимчивостью почувствовали, что он — не «чужак». В этом желтолицем добродушном человеке мы сразу признали «своего». Он покорила наши сердца тем, что плавал, как рыба, с удивительным мастерством и быстротою вырезал из чурочек затейливые кораблики и с помощью самых обыкновенных камешков показывал фокусы.

Часто по вечерам, когда медно-красный шар солнца низко повисал над бледноголубым морем, мы любили

смотреть, как рыбаки вытаскивали на берег сети, полные трепещущей, бьющейся на прибрежной гальке рыбы. Мы старались помочь им и тоже тянули верёвку, натирая на ладонях волдыри.

Чего только не было в мокрых тяжёлых сетях! И огромные студенистые медузы с лиловыми полосами по краям, и тонкие, как змейки, морские иглы, и уродливые скаты с драконьими хвостами, и розовато-серебристые султанки, и плоская, как тарелка, камбала, и круглая, как веретено, кефаль...

Так проходила передо мною жизнь тружеников моря — портовых грузчиков, моряков, рыбаков. Я воспринимал её в те годы прежде всего с внешней, занимательной стороны, но уже и тогда понимал, что основу её составляет тяжёлый труд, выматывающий у людей все силы и дающий им ничтожно мало жизненных благ... Понимал я и другое: самое тяжёлое, самое страшное — когда у людей нет работы. Не раз видел я, каким страдальческим становилось лицо матери, когда отца увольняли с работы или он сам, не поладив с хозяином, брал расчёт.

ПИСЬМО ИЗДАЛЕКА

Однажды утром почтальон принёс нам письмо.

Отца не было дома: он чуть свет уходил на работу. Мать только что растопила печку в летней кухоньке под навесом на дворе. Она вытерла руки о фартук и так бережно взяла у почтальона голубой конверт, словно он был стеклянный и легко мог разбиться от неосторожного прикосновения.

Письма редко приходили в наш белый домик, спрятавшийся на берегу моря в кустах олеандров и жимолости, густо переплетённых ежевикой. Стоя на низеньком крыльце, мать с тревожным любопытством смотрела на конверт, прилетевший сюда, в приморский городок, из неведомого далека. Губы её шевелились, когда она читала про

себя наш адрес, имя и фамилию отца, выведенные на конверте крупными, неровными буквами, рукою, должно быть, не привыкшею держать перо.

— Никак из Петербурга, — задумчиво проговорила мать, — от кого бы это? Ох, господи! — она вздохнула, покачала головой. — Сбегай, сынок, к отцу, снеси письмо, только, смотри, не оброни по дороге... Ну, беги да возвращайся поживей!..

Я сунул письмо за пазуху, на голое тело, и со всех ног кинулся выполнять поручение.

Отец сердился, когда я без дела приходил к нему на работу: он работал механиком на городской водокачке, помещавшейся возле живописных, густо заросших зеленью развалин старинной генуэзской крепости. А для меня не было большего удовольствия, как побывать на водокачке, посмотреть на работу машины, казавшейся мне каким-то чудовищем, сопящим, ворчащим, пышущим жаром, двигающим огромными сверкающими начищенной медью ручищами, чудовищем могучим и злым и все-таки покорным воле спокойного, молчаливого человека с русой курчавящейся бородкой и загорелым лицом — моего отца.

Да, вот это удача! И на водокачке побываю, и узнаю, что в письме написано!..

Отец вышел на мой зов из помещения водокачки, присел на скамью под старым раскидистым орехом. Посмотрел для чего-то конверт на свет и неторопливо распечатал его.

За кирпичной стеной слышался ритмический, глухой шум работающей машины. Из распахнутой двери тянуло запахом машинного масла и разогретого металла. Но сейчас я не обращал на всё это внимания. Я не отрывал глаз от небольшого листка бумаги, который отец, задумавшись, держал в руке. Вот он сложил листок, сунул его в конверт, а конверт спрятал в карман. Потом встал, потянулся. Неожиданно его сильные руки подхватили меня, подняли с земли.

— Ну, что скажешь, морской житель, если мы в Питер поедем, а?

И, не дожидаясь моего ответа, он опустил меня на землю, ласково хлопнул по спине и сказал:

— Беги, скажи матери, что письмо от Матвея Кузовкина. Зовёт нас в Петербург... Понял? В Петербург! Ну, то-то!..

Мать ничего не сказала, когда я передал ей слова отца. Но я почувствовал, что предложение неизвестного мне Кузовкина ей почему-то не по душе.

Я, разумеется, стал приставать к ней с расспросами: далеко ли этот самый Петербург, какой он, хорошо ли в нём?

— Хорошего мало, — коротко и грустно ответила она. — Мы с отцом немало там горюшка хлебнули... — Она замолчала, задумавшись о чём-то, рассеянно поглаживая меня по голове. — Что говорить, нашему брату везде радости мало! — добавила она. — А здесь хоть тепло — о дровах заботы нет...

Я побежал к морю, где давно уже с визгом и криками плескалась в тёплой воде шумная ватага моих друзей. Начал было хвастать: вот, мол, еду в Петербург! Но один мальчик постарше сказал, что он ни за что не поехал бы в Петербург, потому что там моря нет. Как это нет моря? Это сообщение ошеломило меня. Как же можно жить без моря?

— Врёшь ты всё! — крикнул я. — Море везде есть! — И, словно боясь, что меня разлучат с любимым морем, бросился головой в прозрачную зеленоватую воду.

В полдень отец пришёл домой на обед. Отец с матерью жили очень дружно, никогда не ссорились, а тут вышел у них спор, получилось несогласие. Отец, видно, всё уже обдумал и решил ехать. А мать не соглашалась. Она говорила про какую-то синицу в руках и про журавля в небе. Потом про какую-то кукушку, которую нечего менять на ястреба. Я не понимал, почему мать вспоминает всех

этих птиц, но у меня невольно тоскливо сжалось сердце, когда она со слезами на глазах сказала:

— Разве нам здесь уж так плохо? И домик отдельный, и огород, — она посмотрела в окно, — и море... Да и ему здесь вольготней, — она кивнула в мою сторону.

Отец, которого всегда раздражал вид слёз, похлопывая ладонью по столу, доказывал, что мать неправа. Он прочитал вслух письмо, в котором его товарищ — этот самый Кузовкин — писал, что в Петербурге строится много новых фабрик и заводов, что на них можно получить хорошую работу, и звал отца приехать.

Но видя, что мать всё ещё с ним не соглашается, отец ласково обнял её за плечи.

— Ты пойми, — негромко и задушевно сказал он, заглядывая ей в глаза, — не могу я здесь, тошно мне!.. Живём, как в берлоге, ничего не видим, ни людей, ни света. Стосковался я без настоящих товарищей... Душа болит, как подумаю, что живут другие люди большой дружной семьёй. Хоть и трудно им, а всё-таки они вместе — вместе они работают, вместе борются за правду, защищают друг друга... А я? — отец махнул рукой, отвернулся и отошёл к окну.

* *
*

Отец много скитался на своём веку, перекочёвывая то с юга на север, то с севера на юг. Объяснялось это не только вынужденными поисками работы, не только постоянным стремлением вырваться из железных тисков нужды, но и непокорным, вольнолюбивым характером отца, не умевшего, да и не желавшего безропотно подчиняться хозяйскому произволу.

Хозяева, у которых ему доводилось работать, ценили отца за мастерство: он был хорошим слесарем-механиком. Но он частенько получал расчёт за «дерзость» и «смутьян-

ство» и был вынужден снова пускаться в далёкий путь в поисках работы.

Так, в своё время уволенный с одной из петербургских фабрик за участие в стачке, отец по совету товарищей отправился с женой из Петербурга в Донбасс. В небольшом пыльном шахтёрском посёлке мне было суждено увидеть белый свст. Но и здесь не удалось отцу остаться надолго. Не исполнилось мне и двух лет, как его в числе других рабочих уволили с шахты за какое-то «бунтарство»... На этот раз отец решил податься на Кавказ.

Тогда кавказское побережье ещё только «обживалось». Предприимчивые капиталисты за бесценнок скупали землю, разводили виноградники, фруктовые сады, табачные плантации, строили на побережье роскошные дачи, и рабочие руки там были нужны.

Железная дорога доходила только до Ростова-на-Дону. Дальше можно было, смотря по средствам, или передвигаться на лошадях, что было очень дорого, или итти пешком. Последний способ и избрали отец с матерью. Переправившись через Дон, они двинулись потихоньку берегом Азовского моря к Чёрному и дальше вдоль по Черноморскому побережью к Сухуму, с малышом на руках, со скудным скарбом за плечами.

Нелёгко был долгий путь. Но я помню, как много лет спустя мать с какой-то трогательной радостью вспоминала об этом своём путешествии, как о далёкой и счастливой поре молодости, вольной жизни под южным небом, у ласкового моря. Должно быть, все трудности, все невзгоды долгого пути скрашивались молодостью и любовью. Здесь, на берегу моря они были одни, с молодой верой в будущее.

Рука об руку шли два молодых человека в поисках счастья. Справа от них плескалось, шумело море. Щедрая южная природа открывалась перед ними во всей красе. Туапсе, Сочи, — а там уже, в густой зелени старых буковых лесов, покрывающих тёмным плащом приморские горы, за рядами стройных кипарисов и серебристыми ро-

щами маслин перед ними матово блеснули купола Ново-Афонского монастыря.

В монастырь отец и мать пришли с толпою богомольцев. Привело их сюда не религиозное чувство: хотелось передохнуть после тяжёлого пути, узнать у бывалых людей, как живётся рабочему человеку в здешних местах.

Отцу удалось устроиться машинистом на водокачку в огромном садоводстве, где какой-то оборотистый генерал в отставке разводил розы, из лепестков которых вырабатывалось драгоценное розовое масло. Позднее отец перешёл на работу на городскую водокачку в Сухуме. За свою работу он получал жалкие гроши, которых с трудом хватало на то, чтобы кое-как прокормиться даже нашей маленькой семье. Но юг, тёплое синее море скрашивали мою жизнь.

И теперь мне горше всего было думать о разлуке с морем...

Мать всплакнула, уезжая из Сухума, да и я, помнится, пустил слезу. Один отец радовался отъезду. Вспоминая об отце теперь, я понимаю, что его, отличного мастера, человека беспокойной души, не могла удовлетворить однообразная скучная работа на маленькой водокачке. Ему тяжело было и положение одиночки: он всегда стремился к большому рабочему коллективу, в рядах которого обретал душевное спокойствие и словно бы черпал силу, чувствуя себя смелее и уверенней.

— Ну, что пригорюнились? — с нарочитой весёлостью сказал он, обращаясь ко мне и матери, когда все наши небогатые пожитки, уцелевшие от распродажи, были упакованы и уложены на повозку. — Небось, не на край света едем, а в столицу! — И видя, что жизнь в столице мало привлекает нас, добавил: — Питер — самый что ни на есть рабочий город!.. Не пропадём!..

Я в последний раз забежал в наш маленький уютный домик, казавшийся осиротевшим и заброшенным после

того, как из него вынесли все вещи. Из окна, на котором уже не было весёленькой белой занавески, надувавшейся, как парус, я увидел море. Дул сильный ветер. Белые барашки, догоняя друг друга, бежали по синему морскому простору...

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

Прижавшись лбом к запотевшему стеклу вагонного окна, покрытому с наружной стороны растекающимися каплями дождя, я смотрел со смешанным чувством страха и любопытства на нечто громадное, туманное, серое, что постепенно раскрывалось передо мной за окном и что называлось одним, не по-русски звучащим словом: Петербург.

Бесконечные заборы, заборы, заборы, склады, кирпичные стены, закопчённые трубы, мокрые крыши, уходящие в мутную, клубящуюся мглу. И казалось, нет конца и края этим стенам, трубам, крышам. И дождь всё шёл и шёл, и всё новые капли его, сдуваемые ветром, бороздили поверхность оконного стекла...

В вагоне, переполненном людьми, было темно, несмотря на то, что до вечера ещё было далеко. Паровоз гудел протяжно и уныло...

В Петербург мы приехали в ненастный осенний день. Приехали без копейки денег. Переезд из Сухума в северную столицу стоил дорого, и отцу с матерью, чтобы собрать денег на дорогу, пришлось распродать все вещи, оставив только самую необходимую одежду.

Меня, помню, поразили не разноголосый шум и непрерывное движение огромного города, не его широкие улицы, проспекты, многоэтажные дома, каких я никогда ещё не видел. Нет, с тоской и томительной тревогой думал я о том, как не похоже здесь всё на тёплый, светлый юг! Низкое свинцовое небо, нудный дождь, пронизывающий холод, сырость. Всё какое-то серое, бесцветное, печальное. Да и

люди здесь, словно другие — бледные, хмурые, озабоченные...

Я только мельком видел красивые центральные улицы столицы. Петербург сказочных дворцов, похожих на театральные декорации, просторных гранитных набережных, широких, нарядных проспектов с зеркальными витринами богатых магазинов, великолепных садов и парков был не нашим Петербургом.

Наш Петербург был совсем другим: грязным, уродливым, тесным, нищим. Мы поселились в фабричном районе, в мрачном, как тюрьма, кирпичном доме, на узкой грязной улице.

За рядами бедных, словно подслеповатых домишек, до отказа набитых рабочим людом, тянулись серые заборы, пустыри с грудями мусора и шлака, со зловонными никогда не просыхающими лужами, закопчённые корпуса фабрик и заводов. Там, в этих корпусах, что-то гудело, громыhalo, лязгало. Утром, на рассвете, когда было как-то особенно темно и уныло, меня будили пронзительные, хриплые гудки. По вечерам окна фабрик зловеще светились тусклыми жёлтыми огнями.

Воздух здесь был пропитан гарью и копотью, летящей из высоких труб, запахами нефти, краски и угля. И жизнь здесь была такой же унылой, однообразной, безрадостной, как эти серые заборы, грязные пустыри, закопчённые корпуса, — тёмная, нищая, жизнь, задавленная тяжёлым подневольным трудом.

Отец и мать тоже стали здесь словно другими — такими же хмурыми, озабоченными, как все окружавшие нас люди. Редко когда я видел теперь на их лицах улыбку. Очень тоскливо и одиноко было мне здесь. Товарищей у меня не было. Вечером, забравшись в холодную постель и укрывшись с головой, я с тоской вспоминал море, солнце...

Надежды отца на получение хорошей работы не сбылись. Он перебивался мелкой подёнщиной. Случалось

порой, что у нас и хлеба-то вдоволь не было, ложились спать голодными. В такие вечера отец сидел за столом, подперев голову рукой, и молчал, молчал, глядя на огонь маленькой керосиновой лампочки. Мать, ничего не говоря ему, начинала тихонько плакать. Отец хмурился, но вид у него был смущённый, виноватый, и мне было жалко и его, и мать, и тоже хотелось плакать...

Отцу долго не везло с устройством на работу. Пришлось матери наняться в прачки. Стала она ходить стирать по домам.

На всю жизнь запомнились мне полутёмные подвалы с маленькими пыльными окошками, с низкими сводчатыми потолками, с которых капала вода. В этих подвалах работала мать. Я помогал ей по мере сил, как мог и умел, — колол дрова, щепал лучину для растопки, таскал воду. В свободное время, особенно если на дворе было холодно, я сидел у дымящей открытой топки печи, в которую был вмазан котёл для кипяченья белья, или дремал в углу на узлах с нестиранным бельём, или смотрел на мать, согнувшуюся в облаках пара над корытом. Молча следил я за тем, как быстро мелькают в белой мыльной пене её сильные смуглые руки, ещё не утратившие южного загара. Мне почему-то становилось за неё обидно. Я закрывал глаза и представлял себе мать совсем другой — весёлой, смеющейся, в пёстрой косынке, стоящей на берегу синего моря и машущей мне рукой...

Когда мать уставала, она вытирала руки о передник, садилась рядом со мной, развязывала чистый платок, доставала хлеб, селёдку, огурцы. Мы закусывали, вспоминали о жизни на юге, о котором она тосковала не меньше меня. Лицо её светлело, глаза загорались. Она улыбалась, словно не было над нами низкого сводчатого потолка, словно не было корыта с мыльной водой, узлов белья... Щемящая жалость подымалась во мне. Бедная, бедная мама! Мне хотелось помочь ей, приласкаться к ней... И я мечтал о том времени, когда буду большим,

сильным, смогу работать сам, чтобы матери не нужно было с утра до вечера гнуть спину над корытом...

Именно здесь, в Петербурге, я, пожалуй, впервые задумался над тем, что есть люди, которые живут не так, как живёт моя семья и многие другие семьи рабочих, ютившиеся в тесных конурках, в сырых тёмных подвалах, в грязных и шумных «углах». Гуляя порой по огромному городу, я забредал в далёкие от рабочих окраин районы. Здесь была совсем другая, непохожая на нашу жизнь. Я видел большие красивые дома с сердитыми швейцарами в подъездах, сады и парки, богатые магазины с ярко освещёнными нарядными витринами, около которых я готов был простаивать часами. Широкие чистые улицы были заполнены нарядной, весёлой толпой. Быстро проносились сверкающие лаком экипажи. На перекрёстках стояли огромные мордастые усатые городовые с тяжёлыми шашками на боку. Стоило только задержаться около какого-нибудь подъезда или витрины, как они грозно рычали: «Пррроходи!»

Здесь, на бульварах и в скверах, гуляли чистенькие, розовощёкие, богато одетые дети. Однажды в сквере около знаменитого «Медного всадника» я увидел, как мальчики и девочки примерно моего возраста с криками и смехом строили снежную крепость. Я подошёл к ним, желая помочь. Но сейчас же ко мне со всех сторон кинулись разъярённые няньки и гувернантки: «Уходи, уходи сейчас же! Фу, какой скверный мальчишка! Куда лезешь? Уходи!..» А один из мальчиков бросил в меня ледышкой... Я ушёл, ушёл со слезами на глазах, с чувством обиды в душе.

Да, это была совсем другая жизнь, чуждая и враждебная нашей. Стоило только приблизиться к ней, как сейчас же раздавалось: «Пррроходи!», «Куда лезешь?»...

На второй или третий месяц нашей жизни в Петербурге отцу удалось получить более или менее постоянное место. Он устроился механиком на маленький толе-

вый завод за Московской заставой. Конечно, это было несколько не лучше сухумской водокачки, но выбора не было, он был рад и этой работе.

Случалось, когда болел кочегар, я помогал отцу в работе: грузил на тачку уголь, следил за котлом.

Мне шёл десятый год. Особенно крепким здоровьем я не отличался, и мать, жалея меня, всегда очень неохотно отпускала на работу с отцом. Я порой сильно уставал на работе, но никогда не жаловался отцу на усталость.

Как-то раз на дежурстве в кочегарке я задремал. Перед этим мне пришлось нагрузить много тачек угля, я устал и промёрз. В кочегарке же было тепло. Примостившись на скамеечке, у котла, я закрыл глаза... и очнулся только тогда, когда пар с пронзительным свистом стал зырваться из клапанов. Кочегарка быстро наполнилась паром. Я бросился к огромному котлу — стрелка манометра далеко ушла за красную черту. Зажмурился от ужаса, я ждал, что котёл вот-вот взорвётся и весь завод взлетит на воздух... Но этот страх и растерянность длились всего несколько секунд. Я открыл спускной кран, включил насосы, подал холодную воду в котёл... И стрелка быстро пошла вниз. Теперь оставалось только открыть дверь и проветрить кочегарку. Но в эту минуту вошёл отец. Он услышал свист пара и решил, что что-то случилось. Он был бледен. Взгляд его скользнул по манометру, по мне. Он сразу всё понял.

— Иди домой, — коротко сказал он и встал у котла. Лучше бы он накричал на меня, выругал, даже побил!

Самое страшное для меня было — потерять уважение и доверие отца. Я стоял, опустив голову, и не мог двинуться с места.

Отец побыл у котла, потом ушёл, потом снова вернулся. Он вёл себя так, словно меня и не было в кочегарке. А я всё стоял, не поднимая головы...

Так продолжалось не меньше часа. Наконец, отец сжалился надо мной.

— Ну, становись у котла, — сказал он, — да не спи на работе!

Словно гора с плеч свалилась у меня! На всю жизнь запомнил я этот урок...

Позднее отец получил место на строительстве Троицкого моста через Неву. Это несколько поправило наши дела. Мать смогла бросить стирку. Отец заметно повеселел. Он радовался прежде всего тому, что вошёл в жизнь большого рабочего коллектива и приобщился к идеям революционной борьбы, которыми жили передовые рабочие Петрограда. Ведь это было то время, когда, по словам товарища Сталина, «Рабочий класс России поднимался на революционную борьбу с царской властью». Эта борьба врывалась в душный мир бесправия и нищеты, в котором мы жили, как предвестник грядущих светлых дней. И люди, забитые нуждой и подневольным трудом, расправляли плечи, начинали сознавать свою силу, своё право на счастье, учились понимать, что никто не даст им счастья, если они сами не будут бороться за него.

— Эх, жена, если бы ты только знала, какие люди есть на свете! — говорил, бывало, отец, вернувшись поздно вечером домой. — Справедливые люди.

Это было высшей похвалой в его устах. Мать настороженно отмалчивалась. Она, как видно, и досадовала на отца за то, что он часто уходил куда-то по вечерам, оставляя её одну, и боялась за него. Иногда и к нам приходили товарищи отца по работе. До позднего часа велись горячие разговоры о тяжёлой жизни рабочего человека, о борьбе за «правду».

Отец горой стоял за справедливость и не боялся сказать «правду» в глаза хозяину. Бригады, которыми он руководил, одними из первых примыкали к организованному протесту рабочих против увольнений, штрафов или других притеснений со стороны хозяев. Отец с интересом читал революционные листовки, охотно ходил на митинги и собрания рабочих.

Однажды ранней весной с отцом случилось несчастье.

В обеденный перерыв, стоя под лесами строящегося моста, он читал собравшимся вокруг него рабочим революционную листовку. И вдруг сверху свалился кусок железа и сильно поранил отцу голову. Отец упал, обливаясь кровью. Многие рабочие утверждали, что наверху, на лесах, мелькнула чья-то фигура. Кинулись наверх, да никого там не нашли. Как выяснилось позже, кусок железа сбросил подкупленный администрацией десятник. Отца отвезли в морской госпиталь, куда мать немедленно и отправилась. Вернулась она вся в слезах, сказала, что отец очень плох.

Болеет он долго. Когда выписался из госпиталя, давно уже зазеленели деревья. Мать привезла его домой бледного, слабого, обросшего бородой. У него дрожали руки, когда он, посадив меня на колени, ощупывал меня, словно слепой.

...Когда закончились работы на строительстве моста, мы перебрались в Кронштадт: отец поступил в судостроительные мастерские.

Здесь мы снова увидели море. Правда, это море, бледное, жёлтое, совсем не походило на южное, которое я так любил, но всё-таки это было тоже море! Широкий простор его сливался вдаль с таким же бледным и холодным небом.

Здесь, в Кронштадте, было как-то веселее, светлее, чем на сумрачных окраинах Петербурга. Конечно, рабочему человеку и здесь жилось несладко. Но уж одно то, что не было здесь унылых, грязных, тёмных улиц, как-то скрашивало жизнь. Всё здесь занимало меня, казалось новым, необыкновенным.

Хотя в моём представлении Балтийское море не шло ни в какое сравнение с Чёрным, но, пожалуй, именно в Кронштадте я ещё больше полюбил море и как-то глубже понял его своеобразную красоту.

Вся жизнь здесь была связана с морем, всё напоминало, всё говорило о нём. О море напоминали и гигантская, овеваемая солёным ветром статуя Петра I, и порт с его доками и казармами, и канал со шлюзами, и Купеческая гавань с покачивающимся на волнах лесом мачт судов, собравшихся сюда, кажется, со всех концов земли, и мол с его огромными, грозными орудиями, нацеленными в голубовато-серые просторы, и видный в отдалении Толбухин маяк, и чайки, кружащиеся с плачущими резкими криками над морем, над улицами, над крышами домов...

Меня неудержимо тянуло в порт, к морю, и я готов был проводить там целые дни. Но в Кронштадте мне недолго пришлось пользоваться полной свободой. В самом начале осени отец строго и критически оглядел меня с ног до голбы и сказал тоном, не терпящим возражений:

— Довольно баклуши бить. Избегался совсем... Пора, брат, за ум браться!

На следующий день меня наголо остригли, одели в чистую рубашку. Отец взял меня за руку и отвёл в портовое начальное училище. Купили мне клеёнчатый ранец, учебники, тетрадки. Я стал учеником. Появились новые интересы, новые товарищи — такие же мальчуганы, как я, сыновья портовых рабочих, моряков, мелких служащих.

ДЯДЯ ФЁДОР

В Кронштадте в нашей семье неожиданно появился на короткое время и так же неожиданно исчез человек, встреча с которым произвела на меня большое впечатление.

Однажды, вернувшись вечером домой после прогулки с товарищами в гавань, куда мы особенно любили бегать — поглазеть на вновь прибывшие корабли, я застал у нас гостя.

У окна на стуле сидел плотный, широкоплечий и коренастый человек в матросской форменке с голубым воротником, открывавшим крепкую шею. Его круглая, коротко, под машинку остриженная голова отливала синевой, широкоскулое, загорелое лицо было в эту минуту очень серьёзным, даже строгим. Густые чёрные усы завивались кверху.

Он сидел, закинув ногу на ногу. В сильных волосатых руках он держал взятую у соседей гитару с яркочерным бантом.

За столом сидели отец и мать. На меня матрос не обратил ни малейшего внимания, и я робко прошёл стороной и сел на кровать. Вот он тронул зарокотавшие под его пальцами струны и обвел комнату и нас, сидящих в ней, строгим, задумчивым взглядом. Казалось, он не замечает никого из присутствующих, а видит то, о чем думает, — что-то целиком захватившее его...

...Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали...

— негромко пропел он, вернее, даже не пропел, а проговорил нараспев низким, хрипловатым голосом, словно подумал вслух. И я в эту же минуту с поразительной отчётливостью увидел перед собой пустынный, неоглядный зелёносиний простор моря, с бегущими одна за другой пенными волнами. Стало тревожно и хорошо...

...Товарищ, мы едем далёко,
Подальше от нашей земли...
Не слышно на палубе песен,
И Красное море шумит...

Новое, ещё не изведенное чувство щемящего восторга охватило меня, и я уже не помнил, где нахожусь, что делаю. Я видел перед собой пышущую жаром кочегарку и человека, томящегося в предсмертной тоске вдали от родной земли. Слышал всплеск воды и видел круги, рас-

ходящиеся по величаво волнующейся поверхности океана, поглотившего мёртвое тело...

...А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает...

И столько одинокой тоски было в этих простых словах, что слёзы невольно навернулись на глаза... Последний аккорд — в комнате стало очень тихо. Боясь шевельнуться, я взглянул на мать. Концом головного платка, накинутого на плечи, она вытирала глаза...

— Хорошо поёшь, Фёдор... Душевно! — негромко сказал отец.

Матрос бережно положил гитару на стул и встал. Круглое смуглое лицо его преобразилось. Задумчивое и строгое, когда он пел старую матросскую песню, оно вдруг осветилось лукавой весёлостью, добродушием и лаской. Схватив меня сильными руками и приподняв над полом, он некоторое время внимательно разглядывал меня, как какую-то диковинку, а потом, подсев к столу, посадил к себе на колени.

— Вот он какой... Ну-ну!.. В моряки хочешь? Иди, брат, в моряки, моряки народ душевный, простой!

— Он у нас рабочим будет, — сказал отец, кивая головой в мою сторону. — Мне помощником! — В голосе отца слышалась гордость, от которой у меня потеплело на сердце.

— Рабочим?.. Хорошо! Очень даже хорошо!.. Рабочий — друг моряку! Одно у нас общее дело. Верно я говорю? — Тут он вдруг посерьёзnel, спустил меня с колен на пол и встал из-за стола.

— Не искать своё счастье нужно, — сказал он, — не ловить нужно счастье, как Иванушка-дурачок жар-птицу ловил, перо у ней из хвоста выдрал. Эх! Никто не даст нам счастье, если сами его не возьмём! С кровью рвать надо наше счастье! Вот тебе моё слово, а уж я знаю, что

говоря, я весь свет объездил, а не видел того, чтобы простой рабочий человек где-нибудь счастливо жил!..

Он ушёл. Лёжа в постели, я слышал, как отец и мать долго говорили о нём. Из их разговора я узнал, что наш гость был дальним родственником отца, что отец встретился с ним в порту и привёл к себе, что дядя Фёдор, как звали матроса, служил на одном из боевых кораблей Балтийского флота. «Отчаянный человек, — говорила мать, — голову сломит себе...» «Смелый человек, — говорил отец, — справедливый человек!»..

Одно время дядя Фёдор довольно часто заходил к нам. Я очень любил его посещения. Когда он приходил, всё как-то сразу становилось оживлённее, веселее. Мать надевала новую светленькую кофточку, на столе появлялось «угощение», меня посылали к соседям просить гитару.

Матрос пел, рассказывал о своих плаваниях по морям, говорил с отцом о какой-то непонятной мне борьбе, о том, что человек не бессловесная тварь, чтобы весь свой век безропотно ходить в ярме.

— У тебя жизнь, конечно, тоже не сладкая, прямо сказать, жизнь твоя не мармелад, — говорил матрос, обращаясь к отцу. — Нынче ты кое-как сыт и семья твоя сыта, а будет ли у тебя завтра кусок хлеба — ты того точно не знаешь. Да всё ж таки — ты сам себе голова. Не поладил с каким хозяином-кровососом — плюнул ему в рожу и ушёл. Уж как-нибудь перебеёшься, затынешь пояс потуже... А наш брат матрос? Ах ты, боже ж мой! Разве это жизнь? Ткнёт тебя какой-нибудь мичманок, дворянский выкормыш, на губах у него ещё молоко не обсохло, кулачишком в скулу, а ты — стой, замри!.. Будто ты и не человек, а кукла... Знаешь, как про нашего брата в приказе сказано? Не знаешь? Ну, так послушай: «Нижним чинам воспрещается ходить по Невскому, по Большой Морской и в Таврический, Александровский и Летний сады.., по Конногвардейскому бульвару и по набе-

режным Дворцовой, Адмиралтейской...» Это, значит, чтобы ты благородным господам и дамочкам глаза не мозолил, чтобы ты им своим видом нервы не портил!.. Ну, а что касается самой что ни на есть каторжной работы — нижний чин тут как тут! И за весь свой труд, политый потом и кровью, жри, нижний чин, червивую солонину, спи, как собака, на голых досках!.. — голос у него преврался от волнения и гнева, и некоторое время он молчал. Потом заговорил снова.

— В позапрошлом году были мы в дальнем плаваньи. Из Кронштадта в Одессу ходили: кругом всей Европы, значит, обогнули. Ну, и в Одессе около месяца стояли на ремонте. В команде был у нас один матросик — Коршунов его фамилия — тихий такой парень, собой невидный — рябенький, белобрысый. Хмельного в рот не брал. Так вот этот самый Коршунов всё, бывало, с новыми людьми разговоры заводит. Подружился он в Одессе с одним человеком, работал тот человек механиком на заводе, который исполнял наш заказ по ремонту. Вот, друг ты мой, какое дело!.. Ну, стали они встречаться. Как Коршунову черёд на берег итти, так он сразу к своему дружку. Мы-то тёмные были, мало что понимали, начнём, бывало, Коршунову выговаривать: «Нашёл, мол, с кем дружбу водить, что у тебя, моряка, общего с рабочим?..» Коршунов сначала всё отмалчивался. А потом как-то раз и говорит: «Неужто не понимаете вы, братцы, что интересы у нас общие со всем народом? Потому что рабочий ли, матрос ли, солдат ли — всё одно это простой, закабалённый народ!» Ну и рассказал он нам, что стал тот механик ему глаза раскрывать: где, мол, она, святая правда и почему простому человеку плохо живётся, и почему ездит на нём каждый, кому только не лень. Стал механик давать Коршунову читать книжки. А книжки-то, знаешь, какие? Прочтёшь — сердце гореть начинает!.. Коршунов, значит, рассказывал нам, кому, конечно, доверял, что ему механик говорил. А потом, когда мы уходили из Одессы,

механик дал Коршунову книжки, чтобы он их с собой взял, и газету дал. Вот, бывало, соберёмся мы человек пять, забьёмся в такое место, куда ни один офицер нос не сунет, и слушаем, как нам Коршунов читает. И, понимаешь, какое дело, книжечки-то тоненькие, а сила у них — на все двенадцать баллов. За душу берут! — матрос понизил голос и сказал, наклоняясь к отцу:

— Есть такая газета — «Искрой» называется. Написаны на той газете слова: «Из искры возгорится пламя!..» Чуешь? А? Слова-то какие! Очень правильные слова: западёт искра правды в душу человеку, и возгорится из искры пламя!.. Многое понял я с той поры: осветила мне та искра путь...

Дядя Фёдор, отодвинув ногой табуретку, сел за стол и задумался, глядя в тёмное окно.

В комнате было тихо.

— Слышал я про ту «Искру», — негромко проговорил отец.

— То-то, что слышал!.. По всей как есть земле слух о ней идёт. На великое дело поднимает «Искра» народ, чтобы собрался отряд из самых что ни на есть вернейших людей, чтобы, значит, вели они рабочий народ, всех нас, на борьбу за свободу. Понял?.. — Дядя Фёдор замолчал. Побледневшее от внутреннего волнения лицо его было очень серьёзно. — И название тому отряду — партия! Рабочая партия! — тихо произнёс он непонятное для меня слово. И ещё тише и взволнованней добавил: — А самый первый в той партии — Ленин!.. Слышал?.. Я тебе, как другу скажу, — я в этом деле маленький человек, вроде как ученик, юнга по-нашему. Самые первые шаги делаю. Мне ещё расти и расти. А и то, как подумаю, какая это, друг ты мой, сила — партия! Словно крылья вырастают... Дадут мне поручение, хоть и небольшое, а я в него всю душу готов вложить! Понимаешь. Дело-то, говорю, такое великое, что за него и жизнь не жалко отдать!

Он прошёлся по комнате. Улыбнулся своей доброй, располагающей улыбкой и положил горячую руку мне на голову.

— Ну, пора отчаливать!.. А то вон наш паренёк носом клюёт!

Час, правда, был поздний, но носом я не клевал и спать мне ничуть не хотелось. Многое из того, что говорил дядя Фёдор, я, разумеется, не понимал, но слушать его было необычайно интересно. Чувством я угадывал, что говорит он о чём-то большом, важном и запретном, о чём-то таком, что имеет отношение и к нашей жизни, что волнует, тревожит отца и мать.

Раза два или три вместе с дядей Фёдором приходил к нам какой-то худой, высокий, очень молчаливый человек в длинном пальто и поношенном картузе. Стоило ему только появиться у нас, как мы все уходили из комнаты, оставляя его вдвоём с дядей Фёдором.

Мать, кутаясь в платок, садилась на лавочку у ворот дома, в котором мы жили. Отец брал меня за руку и говорил:

— Пойдём-ка погуляем, сынок!

Не меньше часа бродили мы с ним по улицам, тогда как мне хотелось быть дома и слушать рассказы и песни дяди Фёдора.

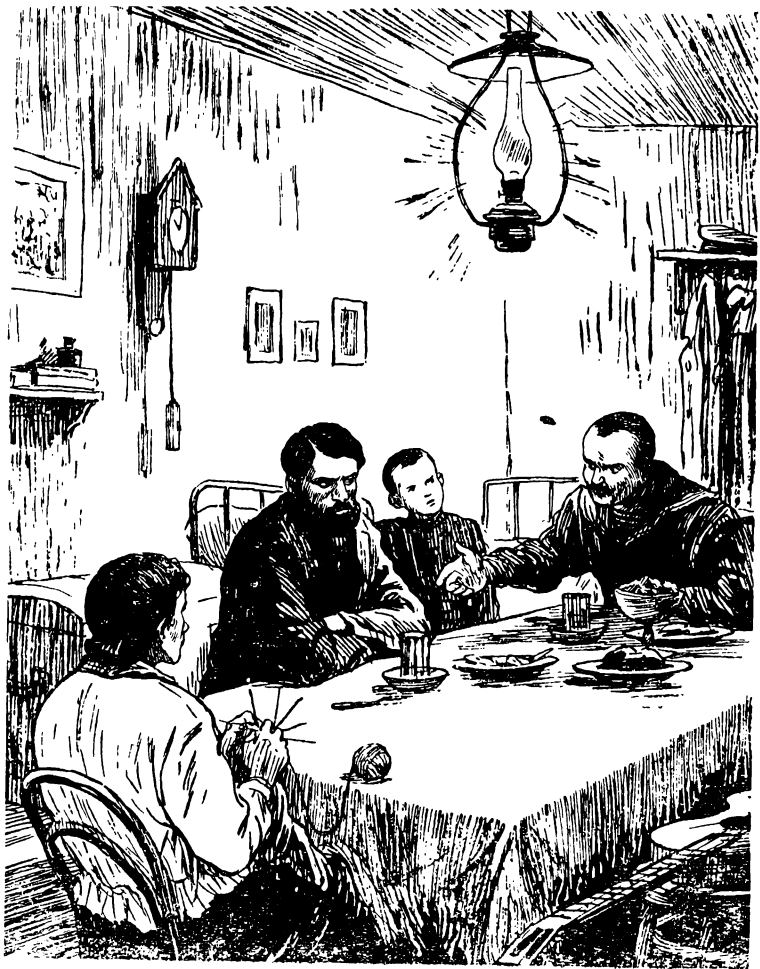
— Чего он к нам ходит? — сердито говорил я отцу, выражая своё недовольство гостем, при появлении которого хозяева уходили из дома.

Отец отмалчивался. Только раз он сказал, словно подумал вслух:

— Хороший человек... Побольше бы таких!..

— А кто он? — спросил я живо. Отец промолчал.

— Ты, сынок, вот что запомни, — сказал он. — Ты уж большой, должен понимать... Есть такие дела, о которых не нужно спрашивать и болтать зря не нужно... Борются люди за нашу свободу, за наше счастье, чтобы нам лучше



жились. Великое дело делают, сынок!.. И мы должны помогать им, беречь их должны. Понимаешь?

Я плохо понимал тогда, в чём заключается борьба, о которой говорил отец, и какое отношение к этой борьбе имеют встречи дяди Фёдора с молчаливым человеком у нас в комнате. Но то, что это «тайна», я понимал. И скорее откусил бы себе язык, чем стал бы рассказывать кому-нибудь об этом.

Побродив по городу, мы возвращались домой. Мать уже не сидела на лавочке у ворот. В комнате было накурено. В открытую матерью форточку тянуло осенним холодком.

Один раз молчаливый гость пришёл, когда я лежал в постели больной. Я где-то простудился, у меня был жар, побаливало горло.

— Как же ты так, Фёдор, — сказал он, — мальчик болен, не следовало бы нам беспокоить людей!

— Да я ж не знал, Платон Иванович, что он больной! — оправдывался смущённый дядя Фёдор.

— Ничего, — сказал отец, — мы выйдем, а он полегит.

— Ну, хорошо, спасибо, мы не долго...

Отец с матерью вышли. Платон Иванович подошёл к моей постели, положил мне на лоб узкую холодную ладонь.

— Жарок есть! — проговорил он. — Простыл? Ну, лежи, детка, спи! Мы тут потихоньку... А папироску, Фёдор, брось. Давай уж не будем сегодня дымить здесь.

У него были добрые глаза, худое усталое лицо. Меня очень тронула его ласка. Я улыбнулся ему и повернулся лицом к стене. Сердце у меня учащённо билось. Я думал, что услышу сейчас о чём-то необычайном и таинственном. Но Платон Иванович и дядя Фёдор говорили вполголоса о каких-то кружках, листовках и книжках. Платон Иванович спрашивал, а дядя Фёдор отвечал, торопясь и волнуясь. Несколько раз в разговоре была упомянута «Иск-

ра», должно быть та самая, о которой дядя Фёдор говорил отцу. Я, признаться, был разочарован. Конечно, я не понимал тогда, что речь шла о героической подпольной революционной работе во флоте, и даже был удивлён, когда в заключение беседы Платон Иванович похвалил дядю Фёдора.

— Молодец! Хорошо у тебя дело идёт!

— Да ведь я, Платон Иваныч, всей душой! — радостно отвечал дядя Фёдор.

— Знаю, что всей душой. Только не горячись, об осторожности не забывай. Помни, дорог нам каждый человек!.. А паренёк-то, кажется, заснул.

Сначала из комнаты вышел дядя Фёдор. Платон Иванович прошёлся по комнате, остановился около моей кровати.

— Спит! — тихо сказал он.

Немного погодя вышел и он, ступая на носки, и, стараясь не шуметь, прикрыл за собой дверь.

...Помню бурный осенний вечер. Глухо, тревожно шумит море. Дождь хлещет в окна. Порывами налетает сильный ветер. Где-то хлопает оторвавшаяся ставня. Наверху, над головой гремит, стучит, словно кто-то большой, тяжёлый ходит по крыше. В порту тоскливо и надрывно воет сирена.

Я уже лежал в постели, вслушиваясь сквозь дрёму в завывание ветра и глухой, отдалённый шум моря. Отец с матерью тоже собирались лечь. Вдруг в дверь постучали. Вошёл дядя Фёдор в морском бушлате. Он, видно, торопился куда-то, был чем-то озабочен, и с его приходом всем сразу стало как-то беспокойно, словно вместе с ним в комнату ворвались свист ветра, шум моря. Не раздеваясь, он некоторое время шёпотом говорил о чём-то с отцом. Мать стояла в стороне, бледная, кутаясь в платок.

Затем дядя Фёдор достал из-под бушлата небольшой свёрток (как я узнал позже, в нём были листовки, которые отец унёс куда-то на следующий день) и передал его от-

цу. Отец молча кивнул головой, подошёл к постели и сунул свёрток под подушку.

— Передам, — коротко сказал он.

— Спасибо тебе... за всё! — сказал дядя Фёдор.

— Тебе, Федя, спасибо, — взволнованно проговорил отец. — Открыл ты мне глаза, Федя!..

Они обнялись с отцом, поцеловались, как перед разлукой. Матрос протянул руку матери и шагнул к порогу. Остановился, словно вспомнил о чём-то, и, вернувшись, на цыпочках подошёл к моей постели. Увидев, что я не сплю и во все глаза смотрю на него, он усмехнулся и лукаво подмигнул мне.

— А что, брат, — сказал он, обращаясь к отцу, — небось, этот парнишка счастливей нас с тобой будет? А? — и ответил сам себе: — Непременно будет! Доживёт до счастливой жизни!..

Он вышел. Мать перекрестилась и торопливо погасила лампу. Но спать отец с матерью не легли. Они долго сидели в темноте, изредка шёпотом переговариваясь о чём-то. И я не спал: всё слушал, как шумит непогода...

С того вечера я больше не видел дядю Фёдора. Отец строго-настрого запретил мне говорить кому бы то ни было, что он был у нас в тот вечер.

ПЕРВОЕ ЗЕРНО

Жизнь шла своим чередом.

Утром отец уходил на работу. Я бежал в училище, где нас обучали грамоте, заставляли зубрить молитвы. Казалось, ничто не изменилось, вот только дядя Фёдор перестал бывать у нас. Но в то же время даже мы, маленькие ребяташки-школьники, не могли не чувствовать какой-то смутной тревоги, распространявшейся вокруг.

Как-то раз в один из сереньких октябрьских дней 1902 года я шёл в училище. Проходя берегом канала мимо матросских казарм, я невольно замедлил шаги. Обычно

здесь было тихо, безлюдно, только у широко раскрытых чугунных ворот стоял часовой-матрос. А сегодня казармы гудели, как ульи. Ворота были закрыты. И в этом было что-то угрожающе тревожное, что заставило меня забыть об училище и остановиться. Что случилось? Мерно стуча сапогами, торопливо прошёл взвод солдат под командой молодого безусого офицера...

Навстречу мне бежал вприпрыжку один из моих товарищей по училищу.

— Занятий не будет! — радостно крикнул он, размахивая сумкой с книгами. — Матросы бунтуют!..

Я было увязался за ним, но вдруг где-то совсем близко, казалось, за углом большого серого дома, сухо затрещали выстрелы. Прохожие бросились во дворы, в подъезды домов. Я испугался и бегом кинулся домой.

А на другой день в Кронштадте появились карательные отряды. На притихших, пустынных улицах слышался топот их подкованных сапог, тускло поблескивали штыки винтовок.

То и дело можно было видеть, как вели куда-то арестованных матросов.

Ребята в училище рассказывали, что около базара между матросами и карательными отрядами была перестрелка. Поползли слухи о том, что многие матросы расстреляны. И тягостное уныние опустилось на город.

Так закончилось одно из выступлений, или, как тогда говорили, «бунт» кронштадтских моряков. Я всё приставал к отцу, спрашивал, почему бунтовали матросы.

— А ты разве не слышал, — отвечал отец, — что рассказывал дядя Фёдор о матросской жизни? От этой проклятой жизни забунтуешь!.. Терпит, терпит человек, а потом уж у него и терпения не хватает. Эх, сынок, сынок!.. Только вот сила пока что не на нашей стороне...

Из разговоров отца с матерью я понял, что арестовали и дядю Фёдора. «За что арестовали этого хорошего человека? Неужели он сделал что-нибудь плохое? Не мо-

жет этого быти!» — думал я, вспоминая его добродушную улыбку, блеск его весёлых глаз.

На глазах у матери я часто видел слёзы. Отец приходил по вечерам с работы сумрачный, неразговорчивый...

Я, разумеется, не разбирался в причинах и обстоятельствах событий, свидетелем которых был, но мне было жалко матросов, особенно дядю Фёдора. Вспоминались его рассказы о тяжёлой матросской службе.

В скором времени приехал в Кронштадт царь. Я представлял себе царя не иначе, как в горностаевой мантии на яркомалиновой подкладке, в золотой короне с зубчиками, таким, каким царь был изображён в книжке сказок, и был очень разочарован, увидев невысокого коротконового человечка в узком офицерском мундире, с рыжеватой бородкой и сонным, оплывшим лицом. Нас, учеников, выстроили на видном месте, около пристани. Царь, сойдя с парохода, разукрашенного пёстрыми флагами, трепетавшими на ветру, медленно прошёл мимо хмурый, сонный, даже не взглянув на нас.

Я слышал, как взрослые говорили: «Царские палачи расстреляли матросов». И в моём представлении никак не укладывалось это торжество, флаги, медный гром оркестра со словами о царе и его палачах. «Зачем привели нас встречать этого злого человека?» — думал я и в толпе нарядных военных, окружавших царя, искал палача в красной рубахе и с большим топором.

В душе моей зародилось первое зерно внутреннего протеста. И зерно это не заглохло. Этому способствовали и годы нарастающей и крепнущей революционной борьбы, и среда — простой рабочий народ, среди которого я жил.

И мать стала с этого времени по-другому относиться к жизни, возможно, под влиянием разговоров с дядей Фёдором, а вернее всего под воздействием идей революционной борьбы, всё шире распространявшихся в народе. Мать, для которой всегда самым главным в жизни было

благополучие семьи, никогда теперь не ворчала на отца, когда он поздно возвращался домой с собрания рабочих, и не уговаривала его не водить компанию с «опасными» людьми.

Зимой, когда мы снова переехали в Петербург, у нас довольно часто ночевали молчаливые, большей частью молодые люди. Теперь мне ясно, что это были революционеры-подпольщики, которые в те времена нередко находили приют и временное пристанище в рабочих семьях. Мы никогда не знали, кто они, как их зовут. Они приходили и уходили. Но уже одно то, что они порой бывали у нас, наполняло, как я видел, отца радостью и гордостью. И он, и мать всегда очень приветливо встречали ночных постояльцев, старались получше накормить их, поудобней уложить. А мне был дан отцом строгий наказ: ни о чём не спрашивать их и вообще «не болтать».

Один из таких посетителей мне запомнился особенно хорошо. Когда он пришёл, отца не было дома: он пришёл позднее. Мать, как всегда по вечерам, что-то шила, сидя за столом.

В дверь негромко постучали. Мать открыла дверь, и в комнату быстро проскользнул молодой, невысокого роста человек с чёрной бородкой, в очках, которые сейчас же запотели, как только он вошёл в тёплую комнату. Он прикрыл за собою дверь, снял очки, отчего его лицо стало ещё моложе и как-то добродушней, и стал протирать их.

— Входите, милости просим, — сказала мать, очевидно предупреждённая отцом о приходе незнакомца.

— Благодарю вас, — сказал тот, надевая очки непослушными, красными от мороза руками. И тут только я и мать сообразили, что этот человек продрог до костей, что ему и слово-то вымолвить трудно. И не мудрено! Стояли жестокие «крещенские» морозы с ветром и метелью, а на незнакомце было лёгкое осеннее пальтецо, старенькая шляпа.

— Да вы же замёрзли совсем! — всполошилась мать. — Раздевайтесь скорей, садитесь вот сюда, к печке, я сейчас самовар согрею!

— Да, знаете, мороз, как на северном полюсе! — отвечал молодой человек, улыбаясь и крепко потирая свои красные руки. — А мне ещё, признаться вам, хозяйюшка, целый час пришлось петлять по улицам, прежде чем попасть к вам! Что смотришь! — обратился он ко мне. — Знаешь, как зайцы петляют, чтобы сбить с толку собаку? Зайцу-то хорошо — у него шуба тёплая, а я ещё тёплой шубы не нажил!

Он весело подмигнул мне, снимая своё потрёпанное пальцецо.

— Вот чаю я выпью с удовольствием, с радостью! Вы себе и представить не можете, как я мечтал о стакане горячего чая там, на улице! Но только уговор, хозяйюшка! — сказал он, увидев, что мать снимает самовар с табуретки. — Самовар ставить буду я! У меня, знаете, правило такое — всё делать самому, не допускать, чтобы кто-нибудь хлопотал за меня!

— Полноте, что это вы выдумали такое? — сказала, смеясь, мать. — У меня, может, тоже такое правило, и я тоже хочу сама чаю выпить. Как же мы с вами поладим?

Он весело, от всей души рассмеялся.

— Ну, подковырнули вы меня!.. Тогда давайте вместе трудиться, я, знаете, очень люблю ставить самовар. Чудесная машина — самовар!..

Не прошло и четверти часа, а нам казалось, что мы давно знаем нашего гостя — такой он был простой, общительный, весёлый. Он с жадностью выпил стаканов пять чая с хлебом, рассказывая с милой и застенчивой улыбкой о старухе-матери, которая жила в каком-то маленьком городке на Волге. И вдруг он замолчал, глаза у него закрылись, он уронил голову на руки и затих. Это было так неожиданно, что мать вскрикнула и бросилась к нему.

Он спал, спал крепчайшим сном!.. Мать всплеснула руками:

— Ах ты, боже мой! До чего же намучился, значит, человек!

Она взяла старый отцовский полушубок, одеяло, подушку и быстро соорудила на лавке постель, поставив в изголовье табуретку.

— Ложитесь, ложитесь скорее, я вам постель приготовила, — говорила она, трогая за плечо незнакомца. Он медленно поднял голову, не раскрывая глаз. Видно было, что, собрав всю свою силу воли, он боролся с одолевшим его сном. С усилием раскрыл глаза, тряхнул головой, встал.

— Ффу!.. Вот как меня разморило в тепле-то после чая.. Вы извините меня, две ночи не спал! — бормотал он. — Спасибо вам... Но вы должны дать мне честное слово, что я никого не стесняю, не занимаю ничьё место... — Он сел на лавку, потянулся и через минуту уже спал, повернувшись лицом к стене, не успев даже снять сапоги. Их снял с него позднее отец, вернувшись домой.

Мать на цыпочках подошла к нему, долго смотрела, подперев щёку рукой, жалостно покачивая головой.

— Молоденький совсем... Бьются люди, бьются, себя не жалея. Святые, что ли — ничего себе, всё народу. Одно слово — большаки!..

Она заботливо осмотрела пальто гостя, пришила вешалку, закрепила пуговицу, болтавшуюся на ниточке. Подумала, вздохнула, достала новые шерстяные варежки, которые незадолго перед тем связала для себя, и сунула их в карман пальто гостя.

Когда я проснулся на следующее утро, ночного гостя уже не было. Отец собирался на работу. На мой вопрос, кто ночевал у нас, он равнодушно ответил: — Этот-то?.. Так... один мой знакомый... Но я понимал, что отец чего-то не договаривает. Неужели это и был один из тех, кого отец называл справедливыми людьми, кто бьётся за

правду, один из того отряда под названием «партия», о котором рассказывал нам дядя Фёдор?.. Я жалел, что проспал уход гостя: с радостью отдал бы я ему свой новый шарф, который мне связала мать и которым я очень гордился!..

— А кто это — большаки? — снова спросил я, поднимая с подушки голову.

Отец вздрогнул от неожиданности, посмотрел в мою сторону.

— Не большаки, а большевики, — поправил отец. — Большевики — это такие люди, которые борются, жизни своей не щадя, за то, чтобы рабочему человеку жилось свободно, хорошо...

— Будет тебе забивать мальчишке голову! — недовольно сказала мать. — Спи, сынок!..

— А я разве что дурное ему сказал? — возразил отец. — Он должен знать, кто нашего брата из тьмы к свету ведёт! — Отец наклонился ко мне, погладил меня по волосам. — Только ты, того... помалкивай про большевиков-то... Понимаешь?

ГОРОД РУССКОЙ МОРСКОЙ СЛАВЫ

Осенью 1904 года наша семья, увеличившаяся к этому времени ещё на одного «едока», — в Петербурге родилась моя маленькая сестрёнка, — снова отправилась в дальнейшее путешествие — на этот раз с севера на юг. Отца перевели в Севастополь, на постройку большого военного корабля. Снова мы увидели тёплое южное море.

За время нашей жизни в Кронштадте я не только привык к неярким, неласковым просторам холодной Балтики, но и полюбил их своеобразную, суровую красоту. И всё же южное море, щедрое теплом, светом, красками, было как-то ближе, роднее, должно быть, по воспоминаниям раннего детства. Когда я увидел его синий простор, ощутил на своём лице его тёплое, мягкое дыхание — это

было, как ласка, как привет старого друга после длительной разлуки!

В Севастополе мы поселились на окраине Корабельной Слободки, населённой в те времена преимущественно рабочим людом: семьями моряков, рабочих, рыбаков. Отец снял маленький ветхий флигелёк из двух комнатёнок, стоявший в глубине двора.

После питерских тесных, сырых, полуподвальных конур, в которых мы ютились, этот флигелёк показался нам прямо дворцом. Мать повеселела, расцвела. Два дня она мыла и скребла наше новое жилище и внутри, и снаружи и уже мечтала о том, как вскопает грядки под небольшой огородик, заведёт курочек. Отец тоже был весел и доволен. Насвистывая, он строгал какие-то старые доски, пилил, стучал молотком: ладил скамьи, полочки, табуретки, даже топчан сам смастерил.

У меня очень скоро завелись друзья-приятели среди соседских ребятишек, и я опять по целым дням пропадал из дома, бродя с моими друзьями по улицам незнакомого мне города.

Здесь, так же как в Сухуме, у прибрежных камней, заросших в подводной части изумрудными водорослями, плескалось тёплое синее море. На холмах зеленели сады, виноградники. В городе было много цветов, зелени. Но здесь, на рейде, на ослепительно синем шелку бухты стояли серые стальные громады военных кораблей, и их присутствие придавало городу характер военной подтянутости, торжественности. На улицах, в порту, на набережной было много загорелых матросов в белых блузах с синими воротниками. И это скорее напоминало Кронштадт—только всё здесь было ярче, нарядней, праздничней.

Мне очень нравился Севастополь — красивый, белый город, амфитеатром раскинувшийся на холме. Нравились его широкие улицы с густыми тенистыми деревьями по обочинам, с большими красивыми домами, построенными из ноздреватого инкерманского камня.

Но, конечно, лучше всего было море, видное из города отовсюду. Гладкая, спокойная поверхность Южной бухты казалась исчерченной непрестанно снующими из конца в конец катерами, лодками, яликами. В глубине Корабельной бухты были в те времена доки, в которые заходили большие корабли. А каким красивым и величественным казалось мне огромное здание Лазаревских морских казарм с памятником Лазареву перед ними! В те годы я ничего не знал о нём, о славном русском флотоводце, но, глядя на памятник, на котором Лазарев был изображён без шапки, с подзорной трубою под левой рукой, я невольно думал: «Этот человек — герой!» От памятника открывался великолепный вид на адмиралтейство, на лес мачт и труб, на гранитную набережную, на эллинг, на огромный пловучий док...

Памятников в городе было много — чуть не на каждом шагу. С невольным почтением вглядывался я в суровые, энергичные черты бронзовых лиц людей, которые создали бессмертную славу русского флота.

На площади против Морского собрания стоял огромный памятник адмиралу Нахимову. Меня удивляла какая-то необыкновенная простота и в то же время внутренняя сила этого человека, сутулого, в скромном сюртуке с эполетами, в небрежно сдвинутой на затылок фуражке. У ног его навеки застыли бронзовые складки поверженного турецкого знамени. И слова из его приказа, выбитые на пьедестале на бронзовом листе, тоже поражали простотой и силой: «Уведомляю господ командиров, что, в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает своё дело».

Я имел самое смутное представление о славном прошлом Севастополя, города русской морской славы. Но, копаясь вместе с моими новыми товарищами в раскалённой солнцем сухой земле на склонах Малахова кургана, заросших рыжей колючей травой, полной краснокрылых

кузнечиков, я с любопытством и неясным волнением разглядывал тусклые, тяжёлые осколки ядер и круглые пули, которые мы там находили и иногда продавали за медяки гуляющей публике из приезжих.

С таким же волнением смотрел я, бывая на Приморском бульваре, с которого нас, ребятишек, нещадно гоняли сторожа в часы гуляния «чистой» публики, на высокую, увенчанную орлом гранитную колонну, возвышавшуюся над водой недалеко от яхт-клуба. В этом районе были затоплены русские корабли, чтобы преградить доступ англо-французской эскадре, пытавшейся захватить Севастополь с моря.

Всё это было когда-то очень давно, много лет тому назад, но славное прошлое города было живо и сейчас. Оно, это прошлое, придавало городу какое-то особое очарование, тревожившее мое любопытство, заставлявшее порой задумываться, мечтать о героических подвигах.

НАСТОЯЩАЯ РАБОТА

Не помню уж почему, но только отец не сразу начал работать на строительстве. У него оказалось недели две свободного времени. А жить на что-то надо было. Вот он и устроился на это время механиком на лесопилку под Балаклавой. Мать с моей маленькой сестрёнкой остались в Севастополе, а меня отец взял с собой.

В Балаклаву мы отправились на рассвете погожего осеннего дня, пешком, с котомками за плечами, как правские мастеровые. Тогда Балаклава была маленьким уютным городком, раскинувшимся на скалистых террасах, спускающихся к тихой, необыкновенного бирюзового цвета бухте, закрытой высокими скалистыми берегами.

Поселились мы с отцом у грека-рыбака, в домике с плоской крышей. Хозяин лесопилки, татарин с нездоровым, бледным, круглым лицом и злыми глазами, торопил отца: лесопилка стояла второй день из-за болезни меха-

ника. Мы с отцом сейчас же по приезде в Балаклаву приступили к работе.

Да, я имею право сказать — мы приступили к работе. Лесопилка была маленькая, в одну раму. На ней пилили доски для ящичков под фрукты, и, кроме отца да двух подсобных рабочих, заправлявших бревна в лесопильную раму, людей на ней не было. Отец поручал мне дежурить у машины, когда ему нужно было что-нибудь сделать в слесарной мастерской. Кроме того, я помогал отцу качать воду в водонапорный бак, помогал ему работать у кузнечного горна, помогал рабочим. Это была не игра в работу, а настоящая работа, и как же я гордился тем, что помогаю отцу, как я задираю нос, когда приходил домой, перед соседскими ребятами, которые целый день только и делали, что возились в песке на берегу да полоскались в море. Конечно, и меня порой неудержимо тянуло в море, но я крепился. И только по вечерам, когда мы с отцом кончали работу и шли купаться, я старался наверстать упущенное.

В слесарной мастерской, кое-как оборудованной под навесом около лесопилки, отец учил меня рубить металл зубилом, обрабатывать его слесарной пилой. Он научил меня делать резьбу на водопроводных трубах, на болтах и гайках. Уж, наверно, все эти поделки были далеки от совершенства, но я с такой тщательностью отделывал «свои» болты и гайки напильником, шлифовал их «шкуркой», что как-то раз отец, долго разглядывая мою нехитрую работу, сказал: «Этого я достиг, когда мне было на восемь лет больше, чем тебе, сынок, теперь...» Я был несказанно горд похвалой отца.

Вернувшись домой после долгого, двенадцатичасового рабочего дня, выкупавшись в тёплом, тихом море, мы с отцом с жадностью проголодавшихся людей накидывались на хлеб, помидоры, жареную рыбу, которую тут же, на дворе, поджаривала для нас на таганке худенькая, пугливая, большеглазая девочка — старшая дочь рыбака.

Её звали, как мне казалось, странно и красиво — Кипридой. Потом я с наслаждением вытягивался рядом с отцом на душистом сене, на котором мы спали, и слушал, как трещат за стеной цикады, как тихо шумит, набегая на прибрежные скалы, близкое море...

В эти тихие вечерние часы отец рассказывал мне о своём тяжёлом детстве, о годах ученичества, о трудном пути, которым должен был тогда идти рабочий человек, чтобы в непрестанных труде и борьбе добывать себе кусок хлеба.

Отец мой был родом из крестьян бывшей Смоленской губернии. Семья была большая: девять братьев. Когда дед умер, в семье пошли ссоры, раздоры, семья разделилась, оскудела. Моего отца, которому в то время едва минуло одиннадцать лет, отдали кулаку-мироеду в пастухи. Не стерпев голодной жизни, мальчик сбежал от кулака, добрался до Киева, о котором слышал от странников и богомольцев, как о каком-то сказочном крае, где текут молочные реки среди кисельных берегов. Но и в Киеве жизнь оказалась, конечно, нелёгкой. Начались годы учёния в разных кустарных мастерских, на лесопилках, фабриках и заводах — многострадальный путь мальчика-ученика, которого не бил разве что ленивый. Отец крепился, терпел. Он решил во что бы то ни стало получить рабочую специальность. Больше всего его страшила перспектива возвращения в голодную, нищую, разорённую деревню. К двадцати годам он стал не плохим машинистом-механиком. Тут прослышал он, что рабочий человек всегда найдёт себе работу в далёком Питере. С узелком за плечами отец отправился в северную столицу...

В Питере он встретился с моей матерью — тогда молоденькой девушкой. Он пришёл сюда на заработки с юга, она пришла с севера, из Вологодской губернии, и нанялась к «господам» в прислуги. Повенчавшись, они долгое время жили врозь: он — в рабочем бараке, она — у своих «господ».

Отец был не только хорошим мастером, в нём была сильно развита и жилка изобретательства. Но осуществлять свои замыслы ему мешали, с одной стороны, недостаточное образование, отсутствие необходимых знаний, с другой — общее для всех рабочих — бесправное положение. Отец отлично понимал это, и вот теперь, когда он, не спеша, то и дело останавливаясь, рассказывал мне о своей жизни, в голосе его слышались горькие, гневные нотки, он говорил, что должна наступить другая жизнь, когда он, как и все рабочие, станет свободным, когда такие мальчики, как я, смогут стать образованными людьми.

Я лежал не шевелясь. Мне было жалко отца, так же, как было жалко мать, когда я видел её склонившейся над корытом в тёмном сыром подвале...

Почему одним живётся хорошо, а другим плохо? Одни катаются по улицам города в нарядных экипажах, гуляют — красивые, чистые — по Приморскому бульвару, а другие работают, работают с утра до вечера и живут в тесных, душных конурах, носят бедную, некрасивую одежду? Почему? Почему?..

Я гордился тем, что отец разговаривает со мной, как со взрослым, как с равным себе, как с товарищем. Но задать ему мучивший меня вопрос — почему? — я не мог. Мне казалось, что этот вопрос обидит отца, что он может подумать, будто я недоволен тем, что у меня отец — рабочий, что мы живём небогато, не катаемся по городу, не гуляем по бульвару. А я твёрдо был уверен, что мой отец — замечательный человек!

Нередко эти тихие и мирные часы вечернего отдыха нарушались. Хозяин домика, в котором мы жили, частенько приходил пьяный. Он был буен во хмелю. Огромный, страшный, с палкой в руке, он входил в дом, расшвыривал вещи. Слышался звон разбитой посуды. Мешая русские и греческие слова, он громко бранился, ис-

кал Киприду: хотел побить её. Неизвестно, за что можно было сердиться на это кроткое и пугливое существо, выполнявшее всю работу по дому. Маленьких ребятишек он не трогал; собравшись в кучу на кровати, они молча, со страхом следили за тем, как бушует их отец. Киприда же, как только грек приходил пьяным, бесшумной тенью проскальзывала в нашу комнату и забивалась в угол. Там она садилась на земляной пол и, обхватив колени руками, замирала, зная, что пьяный не посмеет войти сюда. Грек долго бродил, спотыкаясь и бранясь, по тёмному двору. Потом подходил к дверям нашей комнаты и, выкрикивая угрозы, требовал к себе дочь. Тогда мой отец вставал, открывал дверь и бесстрашно выходил к греку.

— Эй, Сатырос, не мешай спать и оставь девочку в покое, — слышал я в темноте спокойный голос отца. — Давай сюда палку-то, так! Ну, вот теперь сядем, поговорим... Ты что это взбунтовался? Глупый ты человек, Сатырос. Пьёшь много, шумишь много, работаешь мало. Понимаю я: горе твоё, бедность тянет к вину, а ты не поддавайся, крепись. Киприда девочка хорошая, работающая, всё твоё хозяйство ведёт, а ты её бить хочешь, злой человек... За что? Подумай сам?

— Злой? Не злой! Глупый — да, бедный — да! — раздавался хриплый голос грека.

Запинаясь на каждом слове, он, вероятно уже в десятый раз, рассказывал отцу о смерти жены, о том, что он в безысходной кабале у богатого грека-кулака, отбирающего у него за долги весь улов.

— Зачем работать? Зачем жить? — отчаяние охватывало его. Он сползал со скамьи, на которой сидел рядом с отцом, на землю, становился на колени. Он плакал, раскачиваясь и дёргая себя за волосы. Тогда Киприда бесшумно выскальзывала из комнаты на двор, обнимала тоненькими руками своего отца за шею, приглаживала

его взлохмаченные волосы. Он ловил её руки, целовал и, наконец, засыпал, положив голову на колени дочери.

Отец возвращался, ложился рядом со мной.

— Ох, люди, люди! И за что у вас такая жизнь подлая? — бормотал он. И я слышал, как он долго ворочался. А мне до слёз было жалко и бедную Киприду, и даже этого несчастного Сатыроса. И снова я думал о том: почему так плохо, так несправедливо устроена жизнь людей?..

Когда отец брал расчёт — пора уже было возвращаться в Севастополь, — хозяин лесопилки попробовал было обсчитать его. Отец сгрёб татарина за шиворот и, хотя был не очень высокого роста, приподнял от земли, заваленной опилками и стружками. Глядя на круглое помертвевшее лицо хозяина, он очень спокойно сказал:

— Ты что же думаешь: раз я простой, рабочий человек, так у меня и управы на тебя нет? Врёшь!.. Мы, приятель, посильнее вас!..

Татарин испуганно пискнул. Отец отпустил его, он швырнул на верстак деньги и, как заяц, прыгнул из лесопилки.

— Шайтан! Шайтан! — вопил он на бегу. Отбежав, он остановился и, потрясая кулаком и брызгая слюной, грозился позвать полицию...

Через полчаса мы шагали с отцом с котомками за плечами по пыльному шоссе под палящим солнцем.

Отец остановился и громко расхохотался. Глядя на него, засмеялся и я. Чувство большой, неожиданной гордости вдруг охватило меня. Как хорошо сказал отец: «Мы посильнее вас!» Мы — это те, кто трудится на хозяев. А ведь верно — нас куда больше, чем хозяев. Значит, и силы у нас больше!

— Шайтан! Шайтан! — проговорил отец сквозь смех, подражая писклявому голосу татарина. — Сам-то он и есть шайтан! Эх, сынок! Никогда не позволяй этим шайтанам, этим живоглотам проклятым хватать тебя за

горло! Верно Фёдор-то говорил — на силу надо силой отвечать!.. Только вот что, дружок, запомни: человек тогда настоящую силу имеет, когда он борется не в одиночку, а все миром! Понял?

Это было в первый раз, что он вспомнил дядю Фёдора, нашего кронштадтского гостя.

Мы шли с отцом по пыльной жаркой дороге, и я чувствовал себя, не знаю уж почему, сильным и смелым.

Когда мы вернулись в Севастополь, я упросил мать сшить мне из старой отцовской рубахи рабочую блузу. Мать сделала на левой стороне груди узенький длинный кармашек, в который я, когда надевал блузу, засовывал обломок складного аршина и старый отцовский кронциркуль.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОРАБЛЯ

Мы прожили в Севастополе немногим больше года, но я на всю жизнь сохранил память о нём. Многим я обязан Севастополю!..

Здесь мне впервые довелось увидеть величественную картину созидательного человеческого труда. Конечно, это не был наш, советский, свободный и радостный труд, подымающий человека, окрыляющий его сознанием того, что его личный труд, как и труд всего народа, направлен к величественной цели построения коммунистического общества. Но все же здесь, в Севастополе, я увидел и впервые понял богатырскую силу труда сотен и тысяч простых рабочих людей, проникся глубоким уважением к труду.

Не раз отец брал меня с собой на работу — на стройку нового боевого корабля. Я готов был на какие угодно жертвы, лишь бы заслужить право пойти с отцом. В эти дни я вставал раньше всех, облачался в свою блузу, завёртывал в чистый платок припасённую матерью еду и с нетерпением ждал, когда отец напьётся чаю и

позовёт меня. Мы плыли по сверкающей под ещё низким солнцем бухте на барже, которую тащил отчаянно пыхтевший катерок, и вот наступала долгожданная минута: мы оказывались на территории эллинга, в чудесном, сказочном мире, где всё было необыкновенным. Мы проходили мимо низкого, приземистого здания с огромными воротами, в тёмной глубине которого, как в таинственной пещере, что-то гудело, гроыхало, лязгало, ослепительно вспыхивало.

Я привык к виду больших судов в Кронштадте, но гигантский чёрный, весь в красных пятнах сурика ребристый скелет корпуса корабля, вздыбившийся в синее небо, не был похож ни на что, виденное мною, не укладывался ни в какие определения. Невозможно было даже себе представить, что эта чёрная железная громадина когда-нибудь будет рассекать морские волны. Вокруг этой машины двигались ажурные мачты кранов. Гремел оглушительный перезвон молотков клепальщиков. Слышались пронзительные гудки, скрежет и грохот металла, свист и шипенье пара. Багровые вспышки огня, разноцветные клубы дыма... Всё это сначала оглушало, пугало, заставляло невольно жаться к отцу. Но первоначальная растерянность скоро проходила. И тогда всё становилось необыкновенно интересным. В оглушающем хаосе звуков раскрывался огромный, слаженный труд многих сотен, а может быть, и тысяч людей, и этот труд невольно захватывал и вызывал чувство восхищения.

Не спуская глаз с отца, я следил, как он, всегда неторопливый в движениях, говорил о чём-то с рабочими своей бригады, рассматривал чертежи — спокойный, сильный человек в синей рабочей блузе.

У отца была бригада, состоявшая из двух десятков квалифицированных рабочих разных специальностей. Отец умел разобратся в чертежах, знал разметку и обычно сам давал рабочим указания, где и как, под каким углом следует обрезать броневые плиты и стальные

листы для переборок, где сверлить дыры для соединений при сборке листов на корабле. С отцом часто советовались другие бригадиры.

Больше всего меня поражал на стройке гигантский пресс, который с удивительной силой и точностью продавливал в огромных стальных листах отверстия, словно это была не сталь, а мягкая глина. Я мог часами простаивать и около клепальщиков, хотя от их шумной работы у меня потом полдня звенело в ушах. У переносных горнов, пышущих нестерпимым жаром, стояли мальчишки чуть постарше меня. Они внимательно следили за нагревом небольших цилиндрической формы кусков металла — заклепок, которые рабочие выхватывали из горнов длинными клещами, с ловкостью вставляли в отверстия в обшивочных листах и зажимали кувалдами. В ту же секунду с другой стороны листа раздавался дробный перезвон молотков. Это принимались за дело клепальщики, быстрыми ударами своих молотков придававшие головке заклёпки аккуратную полукруглую форму.

Я знал, что эта работа, выполняемая, казалось, с лёгкостью, словно играя, на самом деле требует не только сноровки, но и выучки, мастерства и даётся человеку нелегко. И это вызывало уважение к людям с утомлёнными и потными лицами, с молотками или клещами в сильных, мускулистых руках.

Мне становилось неловко, стыдно, что я стою и смотрю, как работают другие. И не было для меня большей радости, если мне удавалось «поработать», то есть помочь кому-нибудь из рабочих, как и не было большего огорчения услышать чей-нибудь окрик: «А ну, не вертись тут под ногами, видишь, люди работают!..»

Быстро забывал я о запрете отца далеко уходить от него, бегал по всей стройке, заглядывал во все щели. Но когда раздавался гудок на обеденный перерыв, я неизменно оказывался около отца. Я любил слушать разговоры рабочих из «нашей» бригады, когда они, располо-

жившись где-нибудь в тени и развязав свои узелки, неторопливо принимались за еду.

— Что Поликарп Игнатьевич, — говорил кто-нибудь из рабочих, обращаясь к отцу, — парнишка-то твой, похоже, по нашей дорожке пойдёт!

Отец, усмехаясь, смотрел на меня, смущённого общим вниманием, и отвечал:

— Дорожка рабочего человека хорошая — прямая, чистая... Нелёгкая только... И, понизив голос, добавлял:— Особенно, если не сидеть на печке, а бороться за то, чтобы жизнь у нас иной стала...

Севастополю я обязан не только тем, что впервые понял здесь величие человеческого труда. Здесь же впервые начал раскрываться передо мной и глубокий, волнующий смысл пламенного слова «революция».

Конечно, это слово мне доводилось слышать и раньше, но я не понимал его значения и знал только то, что люди произносят его с оглядкой и в то же время с какой-то особенной взволнованной задушевностью, как будто в нём, в этом слове, скрыто что-то заветное, дорогое. Да, от этого слова у людей труда светлели лица, загорались глаза и словно расправлялись плечи, согнутые нуждой, безрадостной жизнью и тяжёлой подневольной работой.

Слушая по вечерам в Кронштадте дядю Фёдора, я понимал, что то, о чём он говорил, имеет отношение к слову «революция», хотя он почти никогда и не произносил этого слова. С этим же словом в моём представлении вязалось и восстание матросов в Кронштадте, и стрельба на улице, и хмурые конвоиры, ведущие арестованных...

И вот случилось так, что здесь, в Севастополе, в этом белом, солнечном городе у моря, пламенное слово «революция» стало не только понятным мне, но и близким — оно вошло в мою жизнь, заслонило собой всё остальное.

Шла ненавистная народу русско-японская война. Война была где-то очень, очень далеко — на краю земли. К нам сюда отголоски её докатывались в виде рассказов о ге-

роической обороне Порт-Артура, о подвиге матросов миноносца «Стерегущий», которые не захотели сдаться в плен японцам и предпочли погибнуть, открыв кингстоны и потопив корабль.

Но в народе ходили не только рассказы о героических подвигах, ползли и тревожные, пугающие слухи о том, что царская армия плохо вооружена, плохо обучена, что царские генералы продались врагу и поэтому русских бьют... Неутешные вдовьи слёзы, сиротство, нищету, разорение — вот что несла эта война народу. В городе какие-то нарядные барыни собирали пожертвования в пользу «героев матросиков». Говорят, целый вагон образков и крестиков отправили на Дальний Восток, где русские солдаты нуждались в оружии и хлебе.

Потом на улицах города появились раненые — страшные, изуродованные калеки. Их можно было видеть на каждом перекрёстке, они назойливо просили милостыню под окнами, останавливали прохожих, требовали помощи, кляли войну, ругали начальство. Постепенно они исчезли, словно расползлись по каким-то норам и щелям.

НАШ СОСЕД

На окраине Корабельной Слободки, по соседству с нами, в таком же маленьком домике, как и наш, жила небольшая дружная рабочая семья. Старик Кузьма Данилович Белоус работал в порту, в слесарно-сборочной мастерской, старуха Егоровна, больная и слабая, вечно охавшая от «ломоты во всех косточках», вела нехитрое домашнее хозяйство. Со стариками жила жена их единственного сына Андрея, молодая, тихая женщина Настя. Самого Андрея не было дома: он служил на флоте и год тому назад его угнали на Дальний Восток «бить японца». Настя с утра до вечера пропадала на подённой работе — то на винсградниках, то ходила по людям стирать бельё.

Она, видно, очень тосковала по своему Андрею. Редко можно было увидеть на её бледном, печальном лице улыбку. Отрадой и утешением всей семьи была трёхлетняя Катюшка, живая, забавная девчурка, дочь Насти и Андрея. С утра до вечера она копошилась в маленьком садике у дома, играла с большим кудлатым и на редкость незлобивым псом Полкашкой. Её тонкий голосок весь день звенел, как щебетанье весёлой птички, и нельзя было не улыбнуться, услышав его.

От Андрея давно уж не было писем, и все в семье очень тревожились о нём. Появился он в один прекрасный день неожиданно-негаданно, ни словом не известив семью о своём возвращении. Меня в это время не было дома. Мать рассказывала потом отцу, что Настя, увидев мужа, «так замертво и повалилась...» И немудрено — Андрей Белоус вернулся инвалидом — без одной ноги, с простреленной грудью.

На следующее утро на крылечке соседского дома я увидел худого, очень бледного человека с большими чёрными усами. Он был в чистой белой рубашке, в чёрных брюках навывпуск. Из левой, казавшейся пустой штанины выглядывала деревянная нога с набитым на конце куском резины. Рядом с ним сидела Катюшка в новом розовом платье и по своему обыкновению звонко болтала. Он внимательно слушал её, бережно проводя рукой по лёгким светлым волосам девочки, и его болезненное лицо светилось радостью и умилением.

Андрей Белоус был своим человеком в Слободке. Быстро познакомился он с нашей семьёй. Нередко заглядывал он к нам — побеседовать с отцом. Отцу Андрей пришёлся по душе. Ему нравилось, что, несмотря на свою беду, Андрей головы не вешал. «Моряк без ноги, — говорил Андрей отцу, — всё равно, что рыба без хвоста... Что ж, руки есть, голова цела, значит без дела сидеть не буду!..»

И верно, без дела он не сидел. Он стал сапожничать. Теперь всегда можно было видеть в открытом настежь окне его черноволосую голову, склонённую над работой, слышать чёткий стук сапожного молотка. Он был отличным мастером, за работу брал «по-божески», и у него отбоя не было от заказчиков.

Впрочем, не только мастерство молодого сапожника и сходность запрашиваемой им цены привлекали людей в каморку Андрея. Люди любили поговорить с ним, потолковать по душам. Он умел и нужный совет дать, и просто сказать доброе приветливое слово, и объяснить многое из того, что волновало тогда людей. А время было тревожное, беспокойное. Вся Россия кипела, как в котле. Все ждали чего-то неотвратимого, грозного...

Поговаривали, что по ночам в маленький домик Белоуса приходят тайком какие-то люди, все больше матросы. Но что это были за люди и зачем они приходили — никто толком не знал.

В моей мальчишеской жизни «дяденька Андрей» занял со временем большое место. Он любил детей и хорошо умел ладить с ними — не как взрослый, а как товарищ. У его окна часто можно было видеть ребятишек, которым он рассказывал какую-нибудь увлекательную историю.

Сколько хороших часов провёл я в его маленькой каморке, сидя на низенькой скамеечке у окна, в то время когда он, постукивая своим молотком или орудуя иглой с крепкой дратвой, рассказывал мне и Катюшке, не отходящей от отца, о дальних странах, в которых ему довелось побывать, плавая матросом на различных кораблях.

Он рассказывал нам о коралловых островах и пальмовых рощах на них, глядящихся в голубые зеркала лагун, о скалистых шхерах с чёрными отвесными стенами, уходящими в неподвижную воду, о знойном, иссушающем

дыхании пустыни в Красном море, о джонках с камышовыми парусами, тысячами толпящихся в китайских портах, о летающих рыбах в южных морях и китах, резвящихся в суровых водах Ледовитого океана...

Маленькой Катюшке рассказы её отца казались удивительными сказками. А я старался отыскать на карте из школьного учебника места, в которых побывал Андрей, и дивился тому, что он побывал чуть ли не во всех частях земного шара.

Да, во многих краях земли побывал этот человек с бледным болезненным лицом и внимательным взглядом добрых глаз, постукивающий теперь сапожным молотком!. Он рассказывал, как плохо и трудно живётся рабочему человеку, какого бы цвета ни была у него кожа — белой, чёрной или жёлтой, и где бы он ни работал — в доках, в порту, на пристани, на фабрике.

— А почему так, дяденька Андрей? — как-то раз спросил я.

— А потому, дружок, что много охотников жить за чужой счёт, на чужой спине ехать!

— Да ведь нас-то больше! — не унимался я.

Он поднял голову и внимательно посмотрел на меня.

— Кого это — нас?

— Да тех, кто работает!

— Это ты, дружок, верно сказал!.. Нас больше, и сила у нас большая. Надо только организовать, собрать всю эту могучую силу. В один крепкий кулак собрать. И тогда, если стукнуть тем кулаком, — от любителей жить за чужой счёт мокрое место останется!

— Дяденька Андрей! Я знаю, ты наверно большевик!..

— Что-о? — он даже привстал от удивления. — Да откуда ты такие слова знаешь?

Я рассказал ему о дяде Фёдоре, о ночных гостях, которые бывали у нас в Петербурге.

— Вот оно что! — проговорил он.—Какой же я большевик? Хромой сапожник — и всё!.. А вот язычок у тебя длиннющий!.. Ну, ладно, хватит об этом! Идите, ребята, побегайте...

Но больше всего я любил, когда дяденька Андрей, отдыхая, откладывая в сторону работу, закуривал самокрутку и начинал на память читать стихи любимого своего поэта — Некрасова. Читал он просто, негромким, глуховатым голосом. Стихи, которые мне читал Андрей, производили на меня такое же впечатление, как песни, которые пел нам в Кронштадте дядя Фёдор. Передо мной вставал страшный мир страданий народа, раскрывались его мечты о лучшей доле. И всё это было близким, понятным, всё находило глубокий и волнующий отклик в душе.

...Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!..

В душе поднималось неизъяснимое чувство тоски, на глаза навёртывались слёзы. Заметно был взволнован и сам Андрей. Он долго сидел молча, курил, и лицо у него было печальным, задумчивым. Потом встряхивал головой и снова брался за работу, снова постукивал его молоток.

Мне очень хотелось как-нибудь выразить свои чувства, но нужных слов не было.

На полке у Андрея лежала стопка тоненьких книжечек, которые он охотно давал читать всем, кто просил. Несколько книжек прочитал и я. Насколько мне помнится, что были издания «Посредника». Читая их, я сделал новое для себя открытие, что правдивый рассказ об обыкновенной жизни простых людей — какого-нибудь Антона Горемыки, мальчика Ваньки Жукова, глухонемого Герасима — может волновать несколько не меньше, чем самые необыкновенные похождения героев сказок, которые до сих пор были главным моим чтением.

«ЛЮБИТЕЛЬ БЫЧКОВ»

Однажды вечером — солнце только что наполовину окунулось в тихое бледное море — я возвращался домой с рыбной ловли. На верёвочке у меня болталось несколько рыбёшек — большеголовых пёстрых бычков.

— Ого, славный улов! — услышал я незнакомый голос.

Смотрю, — на лавочке у забора сидит человек в парусиновом пальто, сапогах, в картузе, сдвинутом на затылок.

Я никогда не встречал этого человека на нашей улице.

— Жарить будешь или мать уху сварит? — спросил он.

— Жарить...

— Ну, и правильно!.. А может, продашь бычков-то?

У незнакомца было круглое румяное лицо, пушистые прокуренные усы. Я подошёл к нему ближе.

— Может, продашь бычков-то? — повторил он. — Полтину дам... Люблю я этих самых бычков...

Полтину? Это было для меня целое богатство! На базаре мне и гривенника не дали бы за моих бычков.

— Да ты подойди, чудак, не бойся. Сядь-ка, потолкуем... — Он взял из моих рук связку бычков. — Хороши бычки! Не жалко денег за них!.. — На его широкой ладони блеснул новенький полтинник. Но когда я протянул было к монете руку, он сжал пальцы в кулак. — Деньги — твои, я от своего слова не отступлю... Ты мне только вот что скажи: ты сапожника Андрея Белоуса знаешь?

— А зачем он вам? — спросил я.

— Вот чудак!.. Зачем человеку сапожник нужен? Ясное дело — сапоги починить!

Я посмотрел на его пыльные, но крепкие, почти новые сапоги.

— Слышал я о нём, вот и решил принести ему старые сапоги в починку. Да вот не знаю, верно ли говорят, что он мастер хороший...

— Хороший! — сказал я, стараясь поддержать честь дяденьки Андрея.

— И много к нему народа ходит?

— Много!

— Ага!.. Ясное дело, если мастер хороший, значит, без работы не сидит. Ты его сам-то знаешь?

— А как же! Мы с ним соседи.

— Вот оно что! Соседи!.. — проговорил незнакомец в парусиновом пальто, добродушно улыбаясь, и снова стал забрасывать меня вопросами. Я поймал на себе его быстрый испытующий взгляд, и мне стало как-то не по себе, тревожно и неловко. Ни у кого ещё не видел я таких холодных, колючих глаз, которые так мало шли к его добродушной улыбке. Страшно стало мне... Что это за человек? Почему его интересуется, много ли народа ходит к Андрею, бывают ли у него матросы, о чём он говорит с людьми, часто ли он сам уходит из дома?.. Беспокойное чувство смутной тревоги нарастало во мне. Я растерянно топтался перед незнакомцем, не решаясь больше взглянуть на него. Какой-то внутренний голос шептал мне: «Беги, беги, это — враг, беги!..» И я кинулся бежать, оставив своих бычков в руках незнакомца в парусиновом пальто.

— Эй, куда ты, малец! — кричал он мне вслед. — Стой! Вот шальной какой!..

Где там!.. Я нёсся по улице во всю прыть, прислушиваясь, не гонится ли он за мной. Никто за мной не гнался. Пулей влетел я к нам во двор и чуть не столкнулся с отцом.

— Откуда ты сорвался? — строго спросил он меня. — Опять драка была?

Я тут же, на дворе, с трудом переводя дыхание, рассказал отцу о встрече и разговоре с незнакомцем. Отец молча выслушал меня. Лицо его стало серьёзным, озабоченным. Он сейчас же пошёл к соседям.

Через несколько минут отец окликнул меня. Он и

Андрей стояли у забора. Я подошёл к ним. Андрей расспросил меня о незнакомце. Он был совершенно спокоен и даже подшучивал над моим страхом.

— Значит, пропали твои бычки? — сказал он. — Ну, ясное дело, он к ним и подбирался... Ты мне вот что, дружок, скажи: доки знаешь?

Как мне было не знать доки! Они были недалеко от Корабельной Слободки.

— Так вот, — продолжал Андрей, — если итти мимо них с правой стороны к морю — есть такая тропочка, — лежит там на берегу якорь в песке... — Я хорошо знал и этот якорь. — Сбегай, дружок, туда — отец позволяет тебе. У того якоря встретишь человека — рыжеватый такой, с бородкой, в сером пиджаке, трубку курит... Ты к нему не подходи, а мимо пройди, будто к морю идёшь. А как с ним поравняешься, скажешь: «Марья Ивановна заболела», — и дальше пойдёшь... Понял? Запомнил? Ну, беги, а то скоро темно будет... Да смотри, чтобы твой любитель бычков за тобой не увязался...

Я вышел на улицу. Улица была пуста. Только наискосок от нашего дома под присмотром маленькой девочки паслась коза. Посмотрел направо, посмотрел налево — незнакомца в парусиновом пальто не было видно. Я побежал вприпрыжку, направляясь к докам. Смеркалось. Место у доков, о котором говорил Андрей, было и днём малолюдным, а сейчас мне не встретилось здесь ни одной живой души. С поворота тропинки я увидел на берегу огромный чёрный якорь. Двумя лапами он глубоко погрузился в песок, две другие торчали вверх. В сумерках якорь был похож на скелет какого-то морского чудовища. Около него, на песке, лежал человек. Опершись на локоть, он смотрел на море, с тихим шелестом набегавшее на берег. Чуть заметный дымок от трубки поднимался над головой этого человека и таял в вечернем воздухе. Сердце у меня забилось сильнее. Я быстро оглянулся по сторонам. Никого... Сбежав по тропинке на берег, я не

спеша пошёл к морю. Человек услышал мои шаги и, повернув голову, равнодушно посмотрел на меня. Я прошёл мимо него в нескольких шагах.

— Марья Ивановна заболела, — негромко сказал я.

Он не двинулся с места. Может быть, он не расслышал, что я сказал ему?

— Марья Ивановна заболела, — повторил я дрожащим голосом, замедляя шаги.

— Слышу, не глухой!.. — донёсся до меня негромкий насмешливый голос. — Авось, выздоровеет Марья Ивановна!..

У меня как гора с плеч свалилась! Я подошёл к самой воде и некоторое время «пёк блины», то есть так бросал плоские камешки, чтобы они подпрыгивали, скользя по гладкой, как шёлк, поверхности моря. Когда я обернулся, у якоря уже никого не было.

По дороге домой я зашёл к соседям, стукнул в окошко. Выглянул Андрей. Я сказал ему, что его поручение выполнено.

— Спасибо, дружок! — просто сказал он.

Мне, конечно, страшно хотелось узнать, что за человек сидел у якоря и какая Марья Ивановна заболела. Я угадывал какую-то связь между поручением Андрея и появлением на нашей улице незнакомца в парусиновом пальто. Но в то же время я понимал, что спрашивать об этом нельзя. И я крепился, молчал, боясь своим праздным любопытством уронить себя в глазах Андрея. Эх, если бы он дал мне ещё какое-нибудь поручение да потруднее!.. За дяденьку Андрея я готов был идти и в огонь, и в воду!

РЕВОЛЮЦИЯ НАЧАЛАСЬ, ТОВАРИЩИ!

9 января 1905 года в Петербурге тысячи безоружных рабочих, доведённых до отчаяния бесправием, каторжным трудом, беспросветной нищетой, двинулись к

Зимнему дворцу искать у царя «правды и защиты». Рабочие шли с семьями — с жёнами и детьми. Царь встретил их пулями. Он приказал войскам стрелять в рабочих. Пролилась рабочая кровь. Больше тысячи рабочих было убито, больше двух тысяч ранено. В этот день рабочие получили страшный, кровавый урок. Они поняли, что царь их злейший враг, что они смогут добиться своих прав, только свергнув самодержавие.

Слухи о кровавой расправе с рабочими с непостижимой быстротой докатились до Севастополя. Помню заплаканную мать, хмурого отца...

На следующий после кровавой расправы с рабочими в Петербурге день — 10 января — у нас в порту, в слесарно-сборочной мастерской — в той самой, где работал отец Андрея Кузьма Данилович, — неожиданно начался большой пожар.

Не знаю, были к тому какие-нибудь основания или нет, но портовое начальство решило, что пожар произошёл неспроста, что это — своеобразная форма протеста портовых рабочих против расстрела их братьев в Петербурге 9 января. Больше всего начальство боялось, что революционное движение охватит не только рабочих, с которыми можно было справиться вооружённой силой, но и матросов, и солдат, что в глазах начальства было особенно страшным.

«Уговаривать» портовых рабочих явился не кто иной, как сам адмирал Чухнин, командующий Черноморским флотом.

Чухнина знали не одни только моряки. Пожалуй, не было в то время в порту мальчишки, а в Корабельной Слободке старой бабки, которым не было бы известно это ненавистное народу имя, имя, к которому обычно добавляли какой-нибудь выразительный эпитет — «собака», «дракон», а то и похуже...

К матросам Чухнин относился с таким высокомерным презрением, с такой нечеловеческой жестокостью, что в

конце концов его чёрная жизнь и кончилась от руки матроса: ненавистного адмирала застрелил из охотничьего ружья на его роскошной загородной даче, утопавшей в цветниках, матрос, работавший у него помощником садовника.

И вот этот-то самый Чухнин, приказав собрать портовых рабочих, выступил перед ними с речью. Брызгая от бешенства слюной, он поносил «проклятых смутьянов», обвиняя их в пожаре в порту. Но рабочие не были расположены слушать бесновавшегося адмирала. Как потом рассказывал нам об этом случае старик Кузьма Данилыч, в ответ на адмиральскую речь послышались свист, крики возмущения. Ненавистного адмирала просто-напросто прогнали, и он с позором бежал из порта, преследуемый свистом и улюлюканьем рабочих...

Эта история наделала много шума в городе. Простой народ видел в ней свидетельство своей нарастающей и крепнущей силы, ну а у «начальства» история с изгнанием адмирала Чухнина рабочими из порта вызвала откровенную тревогу.

В один из последующих за этим вечеров к нам заглянула соседка Настя. Её сестра, жившая в Петербурге, была убита на площади перед Зимним дворцом. Настя плакала, крестилась и всё повторяла: «Они-то с молитвой, с иконами, а он-то их пулями...»

— С молитвой! С иконами! — крикнул, бледнея, отец. — Не так нужно, не так!

Первый раз я видел отца в таком гневе.

Вошёл Андрей Белоус, опираясь на палку, постукивая своей деревяшкой. Он обнял плачущую жену.

— Полно, Настенька, полно!.. — он обернулся к отцу и сказал: — Это вы (он всем говорил «вы») правильно сказали, что нужно «не так»!.. Оно и будет — не так! — Он отстранил Настю, подошёл к столу. Его бледное лицо, освещённое светом настольной керосиновой лампы, вы-

ражало непреклонную волю, решимость и показалось мне в эту минуту необыкновенно красивым.

— Не с молитвой и иконами пойдёт народ к царю, а с оружием в руках! По всей русской земле встаёт, поднимается простой, рабочий народ. И с ним вместе пойдут солдаты, матросы. И уж тогда не сдобровать насильникам!

Он сказал это негромко, но с такой силой чувства, что в комнате стало тихо-тихо, и все, как зачарованные, смотрели на его вдохновенное лицо. Словно сдерживая свой порыв, он замолчал, пристально всматриваясь в лица всех присутствующих в комнате. Увидев, с каким волнением и напряженным вниманием вслушиваются все в его слова, он улыбнулся и тихо, радостно проговорил:

— Революция началась, товарищи!

Пожалуй, это было в первый раз, что я услышал слово «товарищ» в таком широком, обобщающем, роднящем и сближающем людей смысле. И как же оно взволновало меня тогда! Я ведь был ещё маленьким мальчуганом, но слово «товарищи», обращённое и ко мне, нашло какой-то глубокий отклик в душе и наполнило меня гордостью.

Но вот что было непонятно: Андрей сказал, что началась революция, а всё кругом было тихо и мирно, никто не стрелял, не бунтовал, если не считать рабочих, прогнавших адмирала Чухнина из порта...

— Ну, брат, это ты хватил! — сказал отец, с сомнением покачав головой. — Народ зашевелился, это верно, а вот до революции ещё далеко!

Андрей промолчал. Он задумчиво и рассеянно смотрел в окно, словно прислушиваясь к чему-то... В тот вечер он, разумеется, не мог, соблюдая строжайшую конспирацию, сказать во всеуслышание о революционной работе, которая давно уже велась среди моряков Черноморского флота.

События ближайшего времени показали, что правда была на стороне Андрея!

Да, в России началась революция!

Злодейская расправа царя с безоружными рабочими в Петербурге всколыхнула всю страну. Весь народ поднялся на борьбу с самодержавием. Не только в Петербурге и в Москве, но и в других городах рабочие с оружием в руках отважно боролись с царскими войсками и полицией. В городе Лодзи рабочие построили на улицах баррикады и вели с войсками уличные бои. Два с половиной месяца продолжалась стачка иваново-вознесенских ткачей. Вслед за рабочими поднимались крестьяне. Пылали помещичьи имения. Царские каратели расстреливали крестьян. Дух революционной борьбы проник и в армию, главную опору царизма.

Борьбу народа за свою свободу, борьбу против царизма, против рабства и угнетения возглавила партия большевиков. Ленин и Сталин учили народ, что победить самодержавие можно, только сочетав всеобщую политическую стачку с вооружённым восстанием.

Революционной работой среди моряков Черноморского флота руководила «Матросская централка» — руководящий центр социал-демократической военной организации на Черноморском флоте. В «Матросской централке» работали такие видные большевики, как Иван Яхновский, организатор первой матросской социал-демократической группы на Черноморском флоте, двадцатитрёхлетний матрос-большевик Александр Петров, казнённый в августе 1905 года за организацию восстания на военно-учебном корабле «Прут», верный сын большевистской партии Григорий Вакуленчук, погибший во время восстания на броненосце «Потёмкин». Деятельность «Матросской централки» была строго законспирирована. Работой её, сводившейся к подготовке вооружённого восстания на Черноморском флоте, руководил Севастопольский комитет РСДРП. Матросы-большевики по указанию «Матросской централки» распространяли революционные ли-

стовки, организовывали на кораблях большевистские кружки, проводили собрания матросов.

К началу лета 1905 года на многих кораблях и в береговых командах были созданы большевистские организации. Всё чаще собирались матросы на тайные собрания возле Малахова кургана. Всё революционней звучали речи на этих собраниях. Всё ожесточённей развёртывалась борьба матросов-большевиков с меньшевиками, которые всеми силами и средствами мешали развёртыванию назревавших во флоте революционных событий. И как ни старались враги революции потушить разгоравшееся пламя, идея вооружённого восстания всё больше охватывала матросов-черноморцев. Уже был разработан план восстания, которое предполагалось начать осенью, когда корабли проходили учебные стрельбы и, следовательно, были снабжены боеприпасами. По выходе кораблей в море восстание должна была начать команда броненосца «Екатерина II» — «Красная Катя», как прозвали его матросы. Однако события развернулись иначе: красный флаг революции впервые на флоте взвился на мачте броненосца «Потёмкин».

ПЕРВЫЙ КОРАБЛЬ РЕВОЛЮЦИИ

На рейде среди других военных кораблей стоял величественный красавец, могучий по тем временам трёхтрубный броненосец «Князь Потёмкин-Таврический».

Он недавно сошёл со стапелей николаевского судостроительного завода и, возможно, именно поэтому казался особенно нарядным и красивым, как кажется красивой новая, ещё не утратившая блеска отделки вещь.

«Нарядный, как жених», — сказала про него как-то раз мать, когда мы всей семьёй катались в одно из воскресений на ялике по бухте.

Глядя на длинные стволы орудий главного калибра, закрытые сейчас чехлами, я старался представить себе,

как страшен этот могучий красавец во время боя, окутанный облаками порохового дыма, изрыгающий пламя и раскалённый металл, грохочущий громче, чем грохочет гром в самую яростную грозу.

А сейчас белокрылые чайки вились над его трубами и пёстрые сигнальные флажки трепетали на ветру. Маленькие изумрудные волны, набегая, разбивались о его серые, стальные бока.

Вскоре «Потёмкин» ушёл куда-то, как говорили, под Одессу — на учебные стрельбы. А ещё через два или три дня в городе из уст в уста стала передаваться неожиданная новость: на «Потёмкине» — восстание, матросы разоружили и арестовали офицеров, взяли командование кораблём в свои руки и подняли на броненосце красный флаг!

Сначала люди говорили об этом шёпотом, с оглядкой, а потом всё смелее. У рабочих, у матросов загорались глаза и сжимались кулаки, когда они говорили о «Потёмкине».

С молниеносной быстротой эта тревожная, но и такая радостная весть разнеслась по городу. И вот днём 16 июня на улицах Севастополя стихийно возникла многочисленная рабочая демонстрация в знак солидарности с потёмкинцами. Толпа демонстрантов росла с каждой минутой. Говорили, до шести тысяч человек участвовало в этот день в демонстрации. А навстречу демонстрантам уже скакали отряды конной полиции. Засвистели в воздухе нагайки. Послышались крики гнева, возмущения, боли. Толпа дрогнула, рассыпалась. Многие участники демонстрации были арестованы.

Наш сосед, Кузьма Данилыч Белоус, принимавший участие в демонстрации, стоял в палисаднике около своего домика и, нагнувшись над тазом, смывал кровь с расцечённого нагайкой лица. Он был потрясён всем виденным и пережитым и говорил срывающимся от гнева и волнения голосом:

— Нас-то они, сволочи, нагайками, а его, — он подразумевал «Потёмкина», — пойди-ка, достань нагайкой!.. Он им покажет, ох, уж и покажет!..

Андрей стоял в это время на крыльце. Его бледное лицо казалось ещё бледнее. Он повернулся и быстро вошёл в дом, хлопнув дверью.

Демонстрация была разогнана полицией, но то, что где-то в голубых солнечных просторах моря, может быть, совсем близко плавает под красным флагом революционный корабль, было непреложным фактом.

У нас, в Корабельной Слободке и в порту только и было разговоров, что о восстании на броненосце «Потёмкин»... «Потёмкин», потёмкинцы — эти слова отождествлялись для меня со словом «революция». Целыми днями мы, мальчишки, не уходили теперь с берега моря — вдруг он покажется вдали?

Над ровной чертой горизонта поднимались чёрные султаны дыма. Но это был не он — это были военные корабли, которые гонялись за ним...

Я восхищался героями-потёмкинцами. Это ведь были те самые люди, которые окружали меня здесь, в Корабельной Слободке, которых я видел в порту, люди, ставшие родными, близкими. Любимой игрой у мальчишек стала игра в потёмкинцев. Каждый хотел быть отважным матросом Матюшенко.

Я думаю, не будет преувеличением сказать, что в те дни у нас в Слободке все жили событиями на броненосце «Потёмкин». Все, то есть рабочие, матросы, рыбаки, все, кто видел в красном флаге, развевающемся на мачте революционного корабля, призыв к смелой, открытой борьбе с царизмом, со всем ненавистным укладом жизни. К тому же у очень многих на «Потёмкине» служили родные, друзья, знакомые, и это заставляло окружающих нас людей оценивать восстание отважных потёмкинцев не только как героический пример революционной

борьбы, но и как событие в личной жизни. Не знаю уж, каким образом, но многие были хорошо осведомлены обо всём, что происходило день за днём на броненосце. Не обходилось, конечно, без преувеличений, различных слухов, порой злонамеренных искажений и провокаций, но постепенно отсеивалось всё ложное и выявлялась подлинная история героического рейда первого корабля революции.

...Раннее светлое утро погожего июньского дня. Очертания низкого песчаного острова Тендра неясно видны на светлом, струящемся фоне жемчужно-голубого моря. В огромном просторе неба — ни облачка.

Только тот, кто бывал на море, знает, как бывают свежи, чисты и прозрачны эти ранние утренние часы.

Как раз в такой утренний час броненосец «Потёмкин» и сопровождающий его номерной миноносец прибыли на следующий день после выхода из Севастополя к острову Тендра для учебной стрельбы.

Миноносец вскоре отправился в Одессу за продовольствием для себя и «Потёмкина». Он вернулся в тот же вечер обратно, и матросы, побывавшие в Одессе, тайком рассказали товарищам о необычайных и волнующих событиях в городе.

В Одессе давно уже началась и продолжалась стачка рабочих. Матросы, ездившие на базар за продовольствием, своими глазами видели, как тревожно было в городе. Они слышали о героической борьбе рабочих, о массовых избиениях и расстрелах простого народа царской полицией.

Рассказы об этих событиях не могли не взволновать матросов-потёмкинцев.

Внешне всё казалось мирным и спокойным в тот вечер на огромном корабле. Жизнь шла на нём по твёрдо установленным, казавшимся нерушимыми правилам. Но это было обманчивое спокойствие огнедышащей горы, готовой каждую минуту извергнуть раскалённую лаву.

Захватить броненосец в свои руки, итти в Одессу на помощь - рабочим, присоединить к их усилиям могучую силу своих орудий — вот о чём говорили матросы-потёмкинцы в тот тихий вечер, сменившийся короткой летней ночью.

Не спалось потёмкинцам в эту ночь...

Афанасий Матюшенко, человек горячий, страстной души, пользуясь настроением товарищей, призвал их к немедленному выступлению. По-другому вёл себя матрос-большевик Григорий Вакуленчук, спокойный, рассудительный, всей душой преданный делу партии. Он понимал, что одиночное выступление «Потёмкина», в отрыве от готовящегося восстания во всём флоте, не только обречено на неудачу, но может разрушить планы восстания, и пытался успокоить наиболее горячие головы. В эту ночь возбуждение матросов дошло до предела. Казалось, достаточно малейшей искры, самого ничтожного повода, чтобы произошёл взрыв, а таких поводов в тяжёлой матросской жизни не приходилось долго искать.

Ночь подходила к концу. Погасли звёзды. Утренний свет разлился над морем. Начинаясь новый, незабываемый день в жизни потёмкинцев...

Матросам стало известно, что мясо, закупленное в Одессе и привезённое на броненосец, было испорченным. От него шёл нестерпимый запах тухлятины, в мясе копошились черви. Известное дело — судовое начальство всегда наживалось, покупая для матросов самые плохие продукты.

Матросы возмутились. «Что, в самом деле, видно, нас за людей не считают, если хотят скормить нам мясо, от которого и собака отвернулась бы!..» Поднялся негодующий ропот.

Тупое, злобно ненавидевшее и презиравшее матросов начальство, в первую очередь командир броненосца Голиков и старший офицер Гиляровский, не только ничего не сделали, чтобы успокоить матросов, а, казалось, на-

оборот, поступили так, чтобы усилить их возмущение. Уверенные в своей силе и безнаказанности, они, возможно умышленно, хотели вызвать взрыв, чтобы обнаружить вожаков, зачинщиков бунта и примерно на страх всем остальным наказать их, уничтожив тем самым «крамолу» в корне.

Начать с того, что судовой доктор признал червивое мясо годным в пищу — пополоскать, мол, в водичке — и есть можно. Мясо пошло в котел, из него сварили борщ.

Негодование матросов достигло предела. Только после горячих споров с Матюшенко и его сторонниками, призывавшими матросов к немедленному выступлению, Григорию Вакуленчуку удалось убедить товарищей организовать демонстративный протест — не есть за обедом борщ. Наступил обеденный час. Напряжённая тишина стояла в матросских кубриках. На столах в мисках стынул борщ — никто не прикоснулся к нему. В полном молчании матросы пили чай с хлебом.

Весть о проявлении непокорности сейчас же дошла до начальства. По приказу Голикова сыграли сбор. Вне себя от злости командир бесновался перед сумрачно-молчаливым строем матросов.

— Все там будете! — орал он, указывая на реи. — Ну, кто будет есть борщ! Переходи направо!..

Командир приказал вызвать наверх караул.

Некоторое время матросы стояли неподвижно. Потом от строя отделился один человек и перешёл на правую сторону — туда, куда указывал командир. Это был Вакуленчук. Он решил во что бы то ни стало не доводить дело до вспышки, которая могла произойти каждую минуту. Следом за ним стали переходить направо и другие матросы. Но тут произошло такое, чего никто не мог предвидеть и что со всей полнотой раскрыло подлость и низость офицеров «Потёмкина». Старший офицер Гиляровский внезапно преградил остальным матросам путь к этой, отделившейся в правую сторону группе. Он решил, что

оставшиеся матросы и есть «зачинщики», с которыми следует расправиться, и приказал принести брезент.

Тихо стало на палубе... Все матросы замерли, услышав это приказание: ведь на корабле в брезент зашивают мертвецов!.. Неужели всех оставшихся расстреляют?.. Внезапно в тишине отчётливо прозвучал голос Вакуленчука: «Братцы, не стреляйте!»

Караул отказался стрелять в своих товарищей. Неподвижный строй матросов нарушился. Послышались звенящие гневом голоса:

— Бери винтовки и патроны! Братцы, довольно терпеть!.. Бей их!.. Братцы, вперёд!..

Топот ног по палубе. Выстрел, другой... Восстание началось! И первой жертвой его был Григорий Вакуленчук. Его смертельно ранил выстрелом из винтовки старший офицер Гиляровский. Гиляровский тут же был убит матросами, и труп его был выброшен за борт. Но разве могла его жадная смерть искупить смерть матроса-большевика?

В короткое время матросы захватили броненосец в свои руки. Часть офицеров, особенно ненавистных, была расстреляна, и тела их выброшены за борт. Остальные офицеры были арестованы.

Командир броненосца Голиков, раздевшись до нага и напялив спасательный пояс, потеряв от страха голову, метался по своей роскошной каюте, то пытаясь вылезть в иллюминатор, который был слишком узок для него, то стараясь спрятаться где-нибудь. Как он не был похож в эти минуты на того свирепого начальника, который только что угрожал непокорным виселицей! Он ползал перед Матюшенко на коленях, умоляя сохранить ему жизнь... Но что посеешь, то и пожнёшь!..

Свершилось! Над «Потёмкиным», над стальным оплотом царской власти, взвилось красное знамя свободы. Оно ярко и празднично горело в лучах солнца на синем небе, то свиваясь, то распрямляясь под дуновением ветра...

Власть на корабле принадлежала теперь не горстке царских офицеров, а комитету, избранному матросами. И первым решением, которое принял судовой комитет, было: итти в Одессу, присоединиться к восставшим рабочим.

«Потёмкин» вошёл в одесский порт вечером 14 июня. Повернув жерла орудий в сторону города, он стоял на рейде, молчаливый, грозный вестник победившей правды. И город, казалось, притих, насторожился при виде его... А на следующий день рано утром тысячные толпы народа устремились в порт, чтобы увидеть «Потёмкина» под красным флагом. Всем хотелось быть к нему ближе, выразить потёмкинцам своё сочувствие, восхищение.

В палатке из паруса, установленной в конце Нового мола, лежало тело Григория Вакуленчука. Тысячи людей — старых и молодых, рабочих, матросов, женщин, детей — в благоговейном молчании прошли мимо этой палатки, заглядывая в неё, чтобы увидеть того, кто отдал жизнь в борьбе за свободу. Лодки и катера сновали вокруг стальной громады «Потёмкина»...

На следующий день потёмкинцы хоронили своего товарища-большевика. Они несли гроб с телом Вакуленчука на руках. Огромная толпа провожала его в последний путь, до кладбища. Похороны вчера ещё никому не известного матроса превратились в революционную демонстрацию одесских рабочих и черноморских моряков.

Когда «Потёмкин» появился в одесском порту, власти растерялись: слишком грозной и убедительной казалась всем сила орудий броненосца, направленных на город. Но вот первоначальная растерянность прошла, власти принялись действовать. В Одессу стягивались карательные войска для борьбы с «Потёмкиным» и восставшими рабочими. В гавани и на бульваре спешно устанавливались полевые батареи...

В ночь на 16 июня броненосцы «Три святителя», «Георгий Победоносец», «Двенадцать апостолов», минный

крейсер и несколько миноносцев снялись с якоря в Севастополе и взяли курс на Одессу, получив задание расправиться с «Потёмкиным». Позднее, утром 17 июня, у Тендры к этим кораблям присоединились ещё два броненосца и четыре миноносца. Едва ли не вся Черноморская эскадра была отправлена в бой против одного революционного корабля.

Узнав о приближении к Одессе первого отряда эскадры, «Потёмкин» тотчас двинулся ей навстречу, готовый принять бой. Он прошёл совсем близко от флагманского корабля — броненосца «Три святителя». И что же? Матросы броненосцев, посланных для того, чтобы уничтожить восставший корабль, открыто, никого не боясь, выражали ему своё сочувствие!

В полдень 18 июня потёмкинцы увидели на горизонте силуэты всей эскадры — пяти броненосцев и целой флотилии миноносцев. «Потёмкин» смело двинулся навстречу эскадре. Он пересёк строй кораблей и вышел в открытое море. Развернувшись, он снова повернул навстречу эскадре. И тогда на броненосце «Синоп» раздались дружные крики «ура!» Собравшись на палубе, матросы приветствовали потёмкинцев, размахивая бескозырками. Так же встретили потёмкинцев и на броненосце «Двенадцать апостолов». А на броненосце «Георгий Победоносец» вспыхнуло восстание. Все матросы высыпали на палубу, требуя, чтобы командир следовал за «Потёмкиным». Они захватили корабль в свои руки, избрали комитет по примеру потёмкинцев, арестовали офицеров. С «Потёмкина» на «Георгий Победоносец» прибыл Матюшенко и другие потёмкинцы. Но восстание на «Георгие Победоносце» продолжалось недолго. Сказалось отсутствие твёрдого, хорошо организованного руководства. К тому же часть из оставленных на свободе боцманов и кондукторов вела разлагающую работу среди матросов, убеждала их вернуться с повинной в Севастополь. Противникам восста-

ния удалось повернуть броненосец к Одессе и посадить его на мель под прицелом береговых батарей.

Впоследствии царские власти жестоко расправились с участниками восстания на «Георгии Победоносце». Вожаки восстания — матросы Семён Денига и Дорофей Кошуба — были расстреляны. Девятнадцать человек угнали на каторгу...

Потёмкинцы остались в одиночестве. Решено было плыть в Румынию за углем и продовольствием. Вечером 19 июня «Потёмкин» бросил якорь на рейде порта Констанца. Но румынские власти отказали потёмкинцам в выдаче угля и продовольствия.

22 июня корабль с развевающимся на мачте красным флагом появился у Феодосии. Потёмкинцы потребовали угля и провизии. Получив отказ они сделали попытку силой захватить шаланду с углем. Но с берега по кораблю открыли огонь, и многие из потёмкинцев были убиты и ранены. «Потёмкин» снова повернул к берегам Румынии. Румынские власти разрешили потёмкинцам сойти на берег. 25 июня матросы навсегда распростились со своим кораблём.

В народе никто не считал броненосец «Потёмкин» побеждённым. В глазах рабочих и матросов он был и до конца оставался победителем. Все понимали, что матросы с революционного корабля победили своей верой в правое дело революции, своей готовностью самоотверженно бороться за это правое дело!

О броненосце «Потёмкин» написано много книг. Мы знаем теперь, что на броненосце не было достаточно сильной большевистской организации, которая могла бы взять руководство восстанием в свои руки. Ряды большевиков-потёмкинцев были ослаблены смертью Григория Вакуленчука. К тому же на броненосце было немало меньшевиков, эсеров, анархистов, вредивших революционной работе, тормозивших её. В. И. Ленин придавал большое значение восстанию на «Потёмкине». Как только были полу-

чены первые известия о восстании, Ленин направил в Одессу большевика Васильева-Южина, поручив ему попасть на «Потёмкин» и возглавить революционную борьбу на корабле. Но накануне приезда Васильева-Южина в Одессу «Потёмкин» ушёл оттуда для встречи с эскадрой. Не удалось попасть на «Потёмкин» и Ем. Ярославскому, работавшему в это время в Одессе.

В те дни, когда на «Потёмкине» развевался красный флаг революции, ещё один корабль вписал своё имя в славную летопись революционной борьбы моряков: на военно-учебном корабле «Прут» также вспыхнуло восстание. Его душой был матрос-большевик Александр Петров.

15 июня «Прут» был направлен к Тендровской Косе с поручением к «Потёмкину». Но когда «Прут» пришёл туда, «Потёмкина» там уже не было. В Николаеве матросам «Прута» стало известно, что на «Потёмкине» — восстание. Всю ночь митинговали матросы, требуя присоединения к «Потёмкину». Начальство попробовало было тайком от команды двинуться к Севастополю. Но матросы потребовали, чтобы «Прут» шёл в Одессу, к «Потёмкину». 19 июня «Прут» подошёл к Одессе, но «Потёмкина» и там не было. «Прут» повернул в море, надеясь встретиться с «Потёмкиным». Встрече этой не суждено было состояться. К «Пруту» подошли сначала два, а потом ещё два миноносца, и под их конвоем он направился в Севастополь...

Суд над участниками восстания на «Пруте» был скорый и жестокий. Происходил он на глухой окраине Севастополя. Петрова и ещё троих матросов расстреляли на Константиновской батарее.

* *
*

Вскоре после расстрела участников восстания на «Пруте» как-то ночью я проснулся оттого, что в соседней комнате слышались голоса. Сон мгновенно соскочил с ме-

ня. Я сел в темноте на постели, охваченный непонятной тревогой. За тёмным окном, в кустах акации шумел ночной ветер. В приоткрытую дверь виднелась тонкая полоска красноватого света. Я слез с кровати и на цыпочках подошёл к двери. В щель я увидел отца, стоявшего около стола, на котором горела свеча. Невольно я обратил внимание на то, что окно в комнате было завешено одеялом. Около стола стояла мать, непричёсанная, с испуганным лицом, то и дело поправляя волосы...

Всё это вместе взятое — и ветер за окном, и свеча, и завешенное окно, и то, что отец с матерью не спят в такой поздний час, — показалось мне непонятным, испугало меня... В ту же минуту я услышал знакомый, негромкий, глуховатый голос Андрея: — Сердце горит, как вспомнишь, что убили Гришу!.. Что за человек был — чистый, смелый, мужественный!.. На таких, как Григорий Вакуленчук, вся жизнь наша держится.

Я чуть приоткрыл дверь и увидел Андрея. Он стоял недалеко от отца, комкая в руках фуражку. На нём было старенькое пальто с поднятым воротником.

— Эх, если бы не деревяшка моя! — он не закончил и махнул рукой.

— Тебе, Андрей Кузьмич, нечего корить себя... Ты и так немало сделал! — сказал отец и, помолчав, спросил: — Куда же ты теперь?

— Свет не без добрых людей, Поликарп Игнатьич!..

— Понимаю... — отец снова помолчал. — Так ты не сомневайся, всё сделаю, как говоришь...

— А я и не сомневаюсь! — Андрей улыбнулся, шагнул к отцу, протягивая руку. — Прощай, товарищ!..

И опять это слово словно обожгло меня восторгом. Я не утерпел, распахнув дверь, кинулся к Андрею.

— Дяденька Андрей, не уезжай, дяденька Андрей! — бормотал я, заливаясь слезами, хватая его за руку.

— А ну, брысь в постель! — строго сказал отец.

— Ничего, Поликарп Игнатьич, ничего!.. — говорил

Андрей, обнимая меня. — Мы же с ним друзья-приятели! Ну, вот он и пришёл попрощаться. До свиданья, дружок!.. Мы ещё увидимся...

Он ушёл вместе с отцом. Мать погасила свечу и отвела меня в постель.

— Ты что, дурачок, плачешь? — она обняла меня, прижала к груди, волосы её щекотали моё лицо. — Дяденька Андрей получил в Симферополе работу, вот он и уезжает...

Я понимал, что это неправда. Второй раз на своём коротком жизненном пути я встретился с человеком, в котором инстинктивно угадывал что-то, отличавшее его от других людей. Не богатством, чинами и знатностью, а чем-то несоизмеримо бóльшим — горячей, смелой душой, заботой о людях, готовностью к борьбе за свободу и счастье людей — отличался «дяденька» Андрей от других. И вот одного из них, дядю Фёдора, арестовали, увели под конвоем царские солдаты. Другой, Андрей, бежал тёмной ночью...

Мне запомнилось, как он сказал о Григории Вакуленчуке, что на таких «вся наша жизнь держится». И, лёжа в ту ночь в постели, я думал, что эти слова могут быть отнесены и к дяде Фёдору, и к Андрею, и ко всем борцам за народ...

Уехал Андрей во-время. В следующую же ночь у них был обыск. Забрали старика Кузьму Данилыча, но через день выпустили... Много времени спустя я узнал, что Андрей был большевиком, что он был связан с «Матросской централкой».

В эти дни в связи с восстанием на «Потёмкине» в Корабельной Слободке было проведено немало обысков. Многие рабочие и моряки были арестованы. Жизнь притихла, замерла...

Грустно было мне теперь проходить мимо домика соседей, не видеть в окне склонённую голову «дяденьки» Андрея, не слышать стука его молотка. Меня удивляло и сначала даже как-то обижало, что Настя весела, несмот-

ря на отсутствие мужа. Потом я подумал, что она знает об Андрее что-то такое, чего не знают другие...

Большой и неожиданной радостью было в эти дни письмо от дяди Фёдора, которое получил отец. Дядя Фёдор жил на поселении где-то за тридевять земель, в далёком сибирском городке. Отец и мать очень обрадовались, получив это письмо, хотя оно и было совсем коротеньким.

— Жив, значит! Ну, и слава богу! — сказала мать. — И, видать, всё такой же...

— Такого разве согнёшь! — весело откликнулся отец. — Видишь, пишет: «закалился, окреп разумом и духом». Молодец парень!.. Хорошо, когда знаешь, что есть такие люди на белом свете! — добавил он задумчиво.

ЗАПРЕТНАЯ КНИГА

Как-то раз рано утром, копая в соседском саду червей для рыбной ловли, я нашёл книгу, завёрнутую в лоскут парусины. Мне было известно о существовании запретных книг. Осмотревшись по сторонам, я быстро сунул находку под рубашку, перелез через низкий, сложенный из камней забор и юркнул в сарайчик на нашем дворе, служивший одновременно и курятником, и дровяным складом. Здесь я развернул парусину. Передо мной была книга по истории Парижской Коммуны 1871 года. Я сразу решил, что это запретная книга.

Должно быть, кто-то, может быть и Андрей, ожидая обыска, зарыл её в землю под черешней. У меня даже во рту пересохло от волнения! Я обязательно должен прочитать её!... Мне казалось, что тогда я узнаю что-то такое, чего не знает никто из моих товарищей и что, наверно, знали и герои-потёмкинцы, и дядя Фёдор, и Андрей!..

Вот никак не могу вспомнить сейчас, как называлась та книга и кто был её автор. Думается мне, что это был перевод «Истории Парижской Коммуны 1871 года» писателя-коммунара Лиссагаре.

Я побоялся отнести находку домой. На нашем дворе, у забора, в густых зарослях жимолости, покрытой розовыми цветочками, лежал большой белый камень, на котором любили греться на солнцепёке юркие зелёные ящери. Под этим камнем я выкопал ямку и спрятал в неё драгоценную книгу.

Занятия в училище кончились на летнее время, и я часто ходил по утрам ловить в бухте бычков. Теперь же каждый день я вставал до рассвета, быстро одевался и, прихватив припасённые с вечера ломоть чёрного хлеба, пару луковок и донные удочки, тихонько выходил из дома. Опасливо озираясь по сторонам, доставал из тайника заветную книгу, прятал её за пазуху и вприпрыжку бежал по ещё безлюдным в этот ранний час улицам, направляясь к облюбованному мною уединённому местечку на камнях, в глубине бухты.

Солнце ещё только-только вставало, когда я уже был на берегу у самой воды. Как свежи и радостны были эти утренние часы у тихого моря в дымке лёгкого тумана! Первые солнечные лучи бросали на шелковистую поверхность бухты золотые и изумрудные блики. Окрестные холмы озарялись розовым светом. Солнце поднималось выше, и вот уже всё блестело, сверкало и струилось в его тёплых лучах.

Я торопливо раздевался. Оставшись в одних трусах, спешил забросить удочки — и, хоть и был страстным рыболовом, сейчас же забывал о них. Разлѣгшись на плоском, ещё прохладном камне, омываемом прозрачной зеленоватой водой, я открывал книгу и погружался в мир великих событий.

Я читал о том, как в осаждённом врагами Париже рабочие взяли власть в свои руки, провозгласили Коммуну и героически сражались за свою честь и свободу. Передо мной по улицам Парижа проходили возбуждённые толпы народа, маршировали батальоны национальной гвардии со знамёнами, с красной бахромой у ружей. Трубили гор-

нисты, били барабаны. Народ пел «Марсельезу»... Вот с помоста, украшенного алыми знамёнами, раздался, покрывая шум, сильный голос: «Именем народа—Коммуна провозглашена!» И в ответ по толпе прокатился крик восторга, вырвавшийся из тысяч грудей. Грохот пушек, музыка, трубные звуки, рокот барабанов — всё сливалось в гимн радости...

Но враги не дремали. Они начали обстреливать Париж Коммуны из пушек. Париж горел. На улицах воздвигались баррикады. На валу, возле ворот, коммунары устанавливали орудия. Начиналась упорная, кровопролитная борьба... Я читал о том, как на баррикадах наряду с мужчинами и женщинами сражались дети — маленькие доблестные парижане.

Я завидовал им: как бы мне хотелось быть с ними! Что за герои эти коммунары! Вот юноша семнадцати лет — у него доктор ампутировал правую руку, он поднимает левую и восклицает: «У меня ещё осталась эта для службы Коммуне!» Вот ещё один юноша — он стоит на баррикаде, стоит, не сгибаясь под огнём врага, с красным знаменем в руках. Когда он падает мёртвым, знамя подхватывает его товарищ — совсем мальчик. Он взбирается со знаменем на грудь булыжников и показывает кулак врагу. Защитники баррикады приказывают ему уйти, но он остаётся на своём посту, пока пуля не сражает и его.

Враги ворвались в город. Начинается кровавая расправа с коммунарами. Но и побеждённые, они не склоняют головы. Женщина с ребёнком на руках, которую наёмные убийцы буржуазии привезли на расстрел, отказывается стать на колени перед палачами. Прижимая к груди малютку, она кричит своим товарищам: «Покажите этим презренным, что мы умеем, стоя лицом к лицу, встретить смерть!..»

Вот какие это были люди! Неужели и наши потёмкинцы такие? Неужели все такие, кто борется за революцию, не жалея жизни?

Чтение книги давалось мне нелегко. Она была написана трудным для меня языком, и, конечно, очень многое в ней оставалось мне непонятным. То, что было непонятным, было и скучным, и я пропускал много страниц. Но я и думать не смел обратиться к кому-нибудь за разъяснением непонятных мне мест. Больше всего я боялся, что у меня отнимут книгу, запретят читать её.

Я так был увлечён книгой, что мать заметила даже какую-то перемену во мне и, щупая мою голову, — нет ли жара? — не раз спрашивала, здоров ли я. Я отвечал, что здоров, и она в конце концов решила, что мальчишка просто перекупался и перегрелся на солнце...

Разумеется, прежде всего я воспринимал в книге героическую историю событий — описание подвигов коммунаров. Но в то же время я уже понимал, во имя чего эти подвиги совершаются, что правда — на стороне коммунаров, что эти смелые и отважные люди поступают хорошо и правильно, когда борются за свободу, счастье, за справедливость на земле. Я не мог не сопоставить борьбу коммунаров с теми событиями на Чёрном море, свидетелем которых я был. Борьба коммунаров называлась в моей книге «революционной». Слово «революция» я слышал не раз, когда говорили о потёмкинцах. «Значит, — думал я, — есть что-то одинаковое в борьбе коммунаров и наших моряков».

Случай помог мне разобраться в этом вопросе.

Читая книгу, я забывал обо всём, что окружало меня. Бычки объедали приманку, а то и обрывали леску и уходили в море с крючками в губе... Не было ничего удивительного в том, что однажды, увлёкшись чтением, я не услышал, как кто-то подошёл к моему камню и остановился сзади меня. Тень подошедшего упала на камень, я обернулся и вскочил на ноги, прижимая книгу к груди.

Передо мной стоял коренастый старик в рваной полохатой тельняшке, с круглой седой бородой, медной серьгой в ухе и чёрной обожжённой трубкой в углу рта. Щуря

маленькие глаза, он пристально смотрел на меня. Я узнал в нём старого матроса — одного из лодочников в порту.

Первым моим побуждением было прыгнуть с камня в воду. Но я тут же сообразил, что загублю книгу. Старик усмехнулся, увидев моё смятение, и, вынув изо рта трубку, ткнул ею в книгу.

— Видно, занятая у тебя книга, хлопец, коли ты не видишь и не слышишь ничего!.. Ну-ка, покажи! — он протянул к книге загорелую волосатую руку. Я сделал шаг назад, к самому краю камня, и ещё крепче прижал книгу к груди.

— Ну-ну, — проворчал он, — не хочешь — не надо...

В нём было так много добродушия и подкупающей простоты, что я перестал его бояться.

Слово за слово — мы разговорились. Я почему-то проникся доверием к старому матросу. Может быть, потому, что мне очень хотелось с кем-нибудь поделиться своими мыслями и переживаниями. Я рассказал старику всё, что мог, о книге и тут же, не переводя дыхания, прочитал ему вслух то место, в котором рассказывалось о смерти старого коммунара Делеклюза, о том, как он с развевающимися космами седых волос поднялся на баррикаду — навстречу верной смерти... Голос мой дрожал и прерывался от волнения.

Когда я кончил читать, старик долго сумрачно молчал, сдвинув седые брови и посасывая потухшую трубку. Я смотрел на него и ждал, что он скажет. Вот он медленно поднялся с камня, на котором сидел, и, глядя поверх моей головы в голубую даль моря, негромко произнёс, словно подумал вслух:

— Правильные были люди!.. Слышал я, хлопец, про них... Ну, да и наши ребята геройские — не хуже коммунаров!..

При этих словах лицо его словно помолодело: морщины разгладились, тусклые старческие глаза блеснули.

— Мал ты ещё, хлопчик, и не твоего ума дело...

И, не глядя на меня, медленно пошёл прочь.

С этого дня я часто встречался со старым матросом на камнях у моря. Я читал ему отрывки из книги о Парижской Коммуне. Он внимательно слушал меня, подперев голову рукой и дымя своей трубкой, с которой никогда не расставался. Федосеич — так звали старика — был грамотным, но сам читать не мог: плохо видел, а очки не любил.

Несколько раз довелось мне побывать у старика в гостях. Федосеич жил в крохотной хибарке с племянницей, крикливой, грубой женщиной, торговавшей разной мелочью на базаре. Жилось ему, видно, несладко. Племянница, которую я однажды застал дома, не стесняясь моим присутствием, бранила старика, называла «дармоедом» по той причине, что он мало приносил домой денег. Заработать же Федосеичу было трудно, так как гуляющая публика предпочитала ему молодых, сильных лодочников. Старик отмалчивался, слушая брань, насупившись, отчаянно дымил трубкой и вздохнул спокойно только тогда, когда его племянница ушла куда-то, хлопнув дверью.

Как-то раз, зайдя к Федосеичу, я обратил внимание на бледную фотографию молодого матроса в бескозырке, которая висела над убогой постелью старика в рамочке, оклеенной ракушками. Матрос был снят на фоне фантастического пейзажа с пальмами, похожими на растрёпанные веники. Лицо у матроса было напряжённое, глаза испуганные, словно он чему-то очень удивился.

— Васька мой... Сын! — сказал с гордостью старик, видя, что я разглядываю фотографию. — Ох, и лихой парень!.. А к старику жалостливый, уважительный...

Он замолчал, и я, оглянувшись на него, увидел, что лицо старика как-то по-детски сморщилось, плечи опустились.

Он быстро отвернулся, заметив, что я смотрю на него.

— Эх, приведёт ли бог свидеться с ним! — глухо проговорил старик. — Бродит где-то мой Василий по чужой земле, не знает, может, бедняга, где и голову приклонить. Тоскует, поди, по родной сторонушке, по старому батьке... «Дождёмся и мы праздника» — скажет, бывало, ну, и мне на душе светлее становилось... Вот и дождались!.. Эх!..

Старик махнул рукой, ещё ниже опустил голову. Сердце у меня сжалось. Я, не мигая, смотрел на фотографию молодого матроса. Ещё раньше старик рассказал мне, что его сын, Василий, служил на «Потёмкине» и после восстания остался в Румынии. О его дальнейшей судьбе старик не имел вестей.

Сильно тосковал Федосеич о сыне и, забывая порой, что я мальчишка, разговаривал со мной, как со взрослым.

Я так и вижу старика перед собою. Вот стоит он в прованной на локтях тельняшке, окутанный сизыми клубами удушливого махорочного дыма, и, тыкая в пространство трубкой, говорит:

— Да разве это жизнь? Разве это жизнь человеческая? Тянет матрос каторжную лямку и просвета не видит! Видал — надпись на Приморском бульваре висит: «Воспрещается водить собак и ходить матросам». Прочитаешь этакое, и кровь закипает!..

Мне невольно вспоминался Кронштадт и дядя Фёдор... Многое в словах старого моряка было мне непонятно, но из разговоров с Федосеичем я твёрдо усвоил одно: человек должен бороться за лучшую, справедливую долю и, что самое важное, бороться не только ради себя, но и ради других, чтобы всему трудовому народу было хорошо.

Федосеич был живой летописью событий в жизни моряков Черноморского флота за последнюю четверть века. Именно от него я узнал, что ещё задолго до восстания на «Потёмкине» во флоте было неспокойно.

Он рассказал мне, как ещё летом 1903 года во время перехода крейсера «Березань» из Сухума в Севастополь на нём вспыхнуло возмущение по тому же поводу, что и

на «Потёмкине». Матросы отказались есть борщ из тухлого мяса, собрались на палубе и в ответ на угрозы командира корабля расправиться с зачинщиками заявили, что откроют кингстоны и затопят корабль. Ничего не поделаешь: пришлось командиру крейсера отдать приказ немедленно выдать свежую провизию.

Слышал я от Федосеича и о тех событиях, которые разыгрались в Севастополе в черноморской флотской дивизии как раз тогда, когда мы с отцом работали в Балаклаве.

Началось с того, что адмирал Чухнин запретил матросам свободно выходить из казарм. Этот приказ возмутил матросов. На следующий день вечером несколько тысяч матросов смяли выставленный патруль и двинулись в город, опрокинув и стащив в воду железные ворота казарм. Пришлось властям вызывать карательные части. По безоружным матросам было дано несколько залпов. Среди матросов были убитые и раненые. Матросы вынуждены были отступить.

Но чаще и охотнее всего Федосеич рассказывал о «Потёмкине»...

Тускло светит керосиновая коптилка в маленькой бедной каморке старика-лодочника. Мне давно уже пора домой, я знаю, что мне крепко достанется за позднее возвращение, но у меня нет сил встать со скамейки и уйти. Я не спускаю глаз с морщинистого лица старика, который только что закончил свой рассказ и теперь старательно раскуривает свою трубку. Он молчит, погружённый в свои мысли, молчу и я. В раскрытую дверь чуть слышно доносится сонное бормотание моря.

— Вот ведь какие люди бывают,—бормочет старик,— смелые люди, святые... За правду, за волю жизни своей не шадят...

Он проводит ладонью по глазам—должно быть, табачный дым попал в них — и строго говорит:

— Чего смотришь? Домой тебе пора, небось, нагорит от матери, что шляешься незнамо где...

КЛЯТВА

Сентябрь и октябрь — чудесное время в Крыму! Солнце уже не жжёт так беспощадно, как в летние месяцы, — оно льёт на утомлённую зноем землю мягкое, благодатное тепло. Ещё далеко до осенних штормов, но в малахитовом море уже чувствуется бодрящая свежесть, острый холодок. Холмы, покрытые виноградниками, с каждым днём становятся всё краснее, они отливают тёмной бронзой на фоне бледной лазури неба, и стройные кипарисы кажутся почти чёрными на их фоне. В садах расцветают поздние розы с особенно тонким и нежным запахом...

Но в этом году в Крыму было мало праздной, нарядной публики, слетающей сюда на «бархатный» сезон из северных краёв, чтобы продлить лето и попользоваться дарами щедрой крымской осени. Содержатели приморских гостиниц, ресторанов и различных увеселительных заведений, татары-проводники, лодочники, торговцы фруктами и цветами — словом, все, кто собирал обычно в эти месяцы обильную жатву с приезжей публики, жаловались на убытки. Ничего не поделаешь — не до веселья, не до развлечений было богачам в ту осень!

Из разговоров отца с матерью и рассказов Федосеича я знал, что вся жизнь огромной страны остановилась, замерла, парализованная стачкой. Погасли топки, не дымили трубы фабрик и заводов. Не работали почта, телеграф. Не ходили поезда и пароходы. Закрылись магазины, прекратились занятия в учебных заведениях. По решению стачечных комитетов продолжали работать только водопровод, канализация и больницы.

Непривычно тихо, пусто стало и в севастопольском порту: бастовали матросы черноморского торгового флота. Среди черноморских моряков впервые стало широко

известно имя лейтенанта Шмидта, командира миноносца № 253, недавно прибывшего в Севастополь. О Шмидте говорили как о вдохновителе забастовки торговых моряков.

«Как же так? — подумал я, когда впервые услышал его имя. — Он офицер, то есть, по-матросски, «дракон», и вдруг он — на стороне забастовщиков! Может ли это быть?» Я высказал своё удивление Федосеичу, к которому очень привязался и с которым продолжал встречаться, хотя заветная книга давно была прочитана и хранилась теперь у него, на самом дне матросского сундука.

— Эх, ты, чудачок! — сказал старик. — Не все же они «драконы». Пётр Петрович — справедливый командир. Спроси хоть ребят с «Иртыша», они-то уж знают его! Они плакали, когда Шмидта перевели от них...

Начиная с октября имя лейтенанта Шмидта стало популярным не только среди моряков Севастополя. О нём говорили по всей России, о нём чуть не каждый день писали в газетах.

Как-то раз заглянув в хибарку к старому Федосеичу, я застал старика за довольно необычным для него занятием. Надев старенькие, в простой железной оправе очки, которые он терпеть не мог и называл почему-то «старушечьими», Федосеич, сурово сдвинув седые брови и сосредоточенно посасывая, пришивал крупными стежками большую, с ладонь, заплату на рукав своей выдавшей виды куртки.

Закончив эту трудную работу и закурив трубку, он тщательно смазал дёгтем огромные тяжёлые сапоги, которые, как я знал, он надевал в редких торжественных случаях.

Некоторое время я молча следил за всеми этими приготовлениями. Потом не утерпел и спросил:

— В гости собрался, дедушка Федосеич?

Он нахмурился и буркнул мне в ответ, что нечего, мол, нос совать, когда не спрашивают. Однако перед уходом

из дому он придирчиво осмотрел меня с ног до головы и неожиданно сказал:

— Пойдём, коли хочешь...

— Куда?

— К Шмидту.

— К Шмидту?

Он молча кивнул головой.

Конечно, ему не пришлось уговаривать меня: ещё бы не пойти, когда есть возможность увидеть «самого» Шмидта! К тому же я чувствовал, что старик рад моему обществу, хотя он и не говорил этого. Видно, он немножко робел, отправляясь к Шмидту.

По дороге на Соборную улицу—путь нам предстоял немалый—я узнал, что заставило Федосеича решиться пойти к лейтенанту Шмидту. Старик сильно тосковал о сыне, оставшемся, как я уже говорил, в числе других потёмкинцев в Румынии. Жилось старику очень уж плохо — и одиноко и голодно, вот он и решил пойти к Шмидту посоветоваться, пустят ли его, старика, к сыну и кому нужно подать «прошение» об этом.

— Небось, не прогонит меня сын. Не буду я ему в тягость, — глухо сказал старик, не глядя на меня. — Ему-то тоже там несладко. Ну, значит, и будем вместе горе мыкать. Одни мы с ним на всём божьем свете...

— Спросил я тут одного человека, а он как закричит на меня: «Тебя, старый хрыч, в тюрьме надо сгноить за такого сына!..» Ну, а Пётр Петрович не такой, — он рассудит, скажет верное слово...

Лейтенант Шмидт жил на Соборной улице в маленьком уютном флигеле, стоявшем в глубине двора. Отсюда был виден весь город, как на ладони, и открывался безбрежный простор моря.

Но вот беда: Шмидта не оказалось дома. Дверь открыл нам высокий мальчик лет пятнадцати, худенький, большезлазый, с добрым милым лицом.

— А папы нет дома. Да вы войдите, войдите, пожалуйста! — приветливо сказал он.

Он сильно заикался, краснея и смущаясь при этом, что придавало ему какой-то трогательно беспомощный вид.

— Не стесняйтесь, заходите, — повторил он. — Может быть, я могу помочь вам чем-нибудь?

В его голосе, во всём его облике было что-то такое располагающее, что суровый и замкнутый старик тут же, на крыльце, отказавшись войти в комнаты, рассказал ему о своём деле.

Склонив голову набок, мальчик внимательно выслушал старика.

— Я очень хорошо понимаю вас, дедушка, — просто и сердечно сказал он, когда Федосеич замолчал. — Тут, действительно, надо бы вам с папой поговорить. Мы вот что сделаем: я ему расскажу, а вы ещё разок зайдите. Хорошо? Да вот хотя бы завтра. Заходите, обязательно заходите. Папа будет рад помочь вам...

На прощанье он протянул Федосеичу, а потом и мне узкую крепкую руку.

Старик ушёл довольный. Ласковое, внимательное отношение всегда успокаивает, радует людей.

— Видал, какой человек? А? «Заходите... рад помочь вам»... Ах ты, боже ж мой, есть же хорошие люди на свете!..

Но на следующий день старику не пришлось побывать у Шмидта. В этот день произошли знаменательные события.

18 октября к полудню около музея Севастопольской обороны собрался многолюдный митинг. На митинге должен был выступить Шмидт.

Утром этого дня в Севастополе стало известно о царском манифесте, в котором царь, напуганный всеобщей стачкой, обещал народу «незыблемые основы гражданской свободы».

Как только я узнал от товарищей-мальчишек, что народ «валом валит» к музею, то, разумеется, сейчас же загорелся желанием бежать туда. Меня остановил строгий окрик отца:

— Куда? Марш домой! Без тебя дело обойдётся!

Понуро поплёлся я домой и с оскорблённым видом сел у окна.

Отец взял картуз и, не сказав ни слова, ушёл, провожаемый тревожным взглядом матери.

Весь день слонялся я по двору, не зная, чем занять себя. То и дело выглядывал за калитку — не идёт ли отец? Вернулся он только под вечер. Шагнул через порог туча тучей, бросил пыльный картуз на лавку, попросил у матери умыться. Я вертелся около и слышал, как он рассказывал ей, что полицейские стреляли в народ, пришедший после митинга к городской тюрьме требовать освобождения политических заключённых. Были убитые и много раненых.

— Вот тебе и свобода!—сказал отец, садясь на стул.— Правду говорил Шмидт на митинге: «Рано радоваться...»

А на следующий день утром на Приморском бульваре состоялся новый огромный митинг — в знак протеста против кровавой расправы 18 октября. На нём были избраны депутаты — в том числе и лейтенант Шмидт, — которым было поручено заявить протест в Государственной думе.

Начиная с этих дней жизнь в городе завертелась, закружилась в каком-то яростном вихре. Конечно, я не понимал многого из того, что происходило. Мне казалось, что всё, о чём я читал в запретной книге, пришло, придвинулось вплотную к нашей жизни.

Под ясным крымским небом, на улицах красивого приморского города я видел такие же возбуждённые толпы народа, взволнованные лица людей, алые знамёна, как те, о которых рассказывалось на страницах книги. Гремела музыка, слышались страстные речи людей, привыкших к

долгому молчанию. Всех объединяло какое-то новое, радостное чувство близости с ещё вчера чужими и посторонними людьми.

Через два дня народ хоронил жертвы расстрела 18 октября.

Мать не уследила за мной, и я улизнул на улицу. Во весь дух помчался к городской больнице, где стояли гробы с телами убитых. Вдруг чья-то тяжёлая рука легла мне на плечо. Я поднял голову — передо мной стоял Федосеич с неизменной трубкой во рту.

— Куда? — спросил он меня так же строго, как спрашивал отец.

Я умоляюще взглянул на него и, волнуясь, сдерживая слёзы, стал говорить, что вот, мол, в Париже мальчики на баррикадах сражались, а я, что же, — должен дома сидеть?..

Старый матрос улыбнулся, отчего его загорелое лицо покрылось сеткой мелких морщинок.

— Ах ты, коммунарь! — добродушно проворчал он, взял меня за руку, и мы двинулись в ту сторону, куда шло много народу.

И вот мы идём в рядах траурной процессии, медленно движущейся по направлению к кладбищу. Мы идём мимо домов, из раскрытых окон которых на нас смотрят встревоженно любопытные люди. В лицо нам дует ветер с моря. Оркестр играет что-то торжественное и печальное, от чего замирает сердце и слёзы навёртываются на глаза. Впереди процессии колышутся на ветру красные знамёна с чёрными лентами. Все идут молча, в лёгком облаке пыли, поднятой ногами, которую ветер относит в сторону. Цепи рабочих, взявшихся за руки, охраняют процессию по бокам. Ни войск, ни полиции не видно на улицах.

Толпа заполняет кладбище. Все, как один, обнажают головы. Знамёна склоняются к братской могиле. Вот над ней поднимается на какое-то возвышение худой высокий человек в мундире лейтенанта флота. У него бледное, ус-

талое лицо. Ветер трогает волосы на его голове. Федосеич крепче стискивает мою руку, мы обмениваемся с ним взглядом... «Лейтенант Шмидт!» — догадываюсь я. Вот он поднимает руку, что-то говорит. И на кладбище становится так тихо, что слышно, как попискивает какая-то пичужка в голых ветках акаций.

Шмидт указывает рукой на гробы, поставленные на землю у могилы. Мы стоим довольно далеко и не очень ясно слышим его взволнованный голос. Но вот и до нас доносятся слова:

— Клянёмся им в том, что всю душу и самую жизнь свою положим за нашу свободу!..

— Клянёмся! — в один голос тихо и грозно отвечает многотысячная толпа. «Клянёмся!» — говорю и я со всеми. Старый матрос наклоняется к самому моему уху. Его седая борода щекочет мне щёку.

— Помни, внучек, эту клятву! — шепчет он. Молча смотрю на него. Я не в силах сейчас сказать что-нибудь. Никогда раньше я не видел, чтобы лицо старика было таким добрым, таким просветлённым. Его маленькие глазки блестят влажным блеском, и он вытирает их огромным волосатым кулаком...

В конце дня пронёсся слух, будто после выступления на кладбище Шмидт был арестован по приказанию адмирала Чухнина и под конвоем отправлен на броненосец «Три святителя».

Вечером пришёл домой отец. Он тоже был на кладбище, тоже слушал Шмидта. Мать стала жаловаться, что я ушёл без спросу из дома, бегал, бог знает куда, — на кладбище! Отец нахмурился, строго посмотрел на меня — он не прощал непослушания. Но когда услышал, что я был на кладбище, смягчился. Взволнованно прошёлся по комнате:

— Эх, мать! — сказал он, останавливаясь и беря мать за руку. — Если бы ты слышала, как народ клятву давал. — «Клянёмся, что жизнь положим за свободу!» Серд-

це в груди перевернулось! — он привлёк меня к себе.—
Слышал, сынок?

— Слышал...

— Рано ему ещё голову забивать этими делами! — недовольно сказала мать. — Сам ты по целым дням пропадаешь неизвестно где, этот носится, как угорелый! Вся душа у меня изболела за вас!..

Отец погрозил мне пальцем:

— Слушайся мать! Не ходи, когда она не велит...

Но я понимал, что это он говорит так, для порядка. За ужином отец рассказывал, что матросы, солдаты и рабочие на многочисленных митингах требовали освобождения арестованного Шмидта и адмиралу пришлось уступить. Шмидт был выпущен на свободу.

В один из этих дней, помнится, в конце октября или в начале ноября, отец пришёл домой чем-то сильно взволнованный. Долго ходил по двору, словно не знал, куда себя деть, а когда мать в третий раз позвала его обедать, махнул рукой и сказал:

— Эх, да погоди ты! Не до щей мне сейчас...

Мать обиделась было, а он вошёл в кухню, ласково взял мать за руку и сказал:

— А ведь похоже, прав был Андрей-то, когда говорил нам, что революция началась! Вся матушка Россия кипит, как в котле!.. Слыхала, что в Кронштадте-то?

Мать ничего не знала о том, что происходит в Кронштадте, а я, услышав название знакомого города, сейчас же наострил уши.

Отец, не повышая голоса, стал рассказывать, что в Кронштадте восстали матросы и солдаты, что город два дня находился в руках восставших. Он рассказывал, что, когда начальство арестовало зачинщиков восстания, толпа матросов и солдат освободила арестованных. Вооружённые матросы и солдаты вышли на улицы и захватили город. Только когда из Петербурга были вызваны карательные войска, восстание было подавлено.

— Понимаешь, мать, какие дела! — говорил отец. — Боевой народ моряки, боевой!.. У нас тут всё кипит, волнуется, а там тоже. Армия бунтует. Армия!.. На кого же царю опереться-то теперь? Выходит, не на кого! — глаза отца блестели радостью, лицо стало молодым. Он наклонился к матери и прошептал:

— Его работа!

— Кого это — его?

— Фёдора!

— Фёдора? Он за тридевять земель от Кронштадта в Сибири!

— Мало что—в Сибири!.. А зерно кто посеял? Такие, как Фёдор. А впереди восставших кто шёл, кто их за собой вёл? Опять такие, как Фёдор... Понимать надо...

ВОССТАВШИЙ КРЕЙСЕР

Город продолжал жить напряжённой жизнью. Повсюду шли митинги — в городском саду, на Приморском бульваре, в рабочих слободках. Говорили, что адмирал Чухин издал приказ, запрещающий военным участвовать в митингах рабочих. У Приморского бульвара стояли вооружённые патрули, а ворота флотских экипажей были накрепко заперты. Но все эти меры не могли потушить разгоравшейся борьбы. Матросы волновались, брожением была охвачена и часть солдат Брестского полка.

В те дни не только я, маленький мальчуган, но, может быть, и мой отец не отдавали себе в полной мере отчёта в том, каких великих и знаменательных событий были мы современниками.

Когда я теперь оглядываюсь назад, то не могу не думать без волнения о том, что в годы моего отрочества мне довелось видеть зарождение нашей народной, родной Советской власти — рождение первых Советов рабочих депутатов! В Севастополе Совет матросских, рабочих и солдатских депутатов был организован 12 ноября 1905 года.

13 ноября к нам зашёл Федосеич. (Он познакомился с отцом на одном из митингов и с тех пор частенько бывал у нас.) Вид у старика был торжественный, праздничный. Поверх обычной тельняшки на нём была старенькая, заплатата на заплате, но заботливо вычищенная куртка. На ногах — сапоги, от которых так и несло дёгтем. От самого же старого матроса ощутимо пахло винцом. Он как-то неожиданно появился на пороге раскрытой двери и остановился — грудь колесом, руки по швам.

— С праздником! — громко сказал он со смущённой и радостной улыбкой на лице. — С праздником пришёл поздравить хороших людей!..

— Заходи, садись, Архип Федосеич, что стоишь, — приветливо сказал отец. — Какой же это нынче праздник?

Старик присел к столу, разгладил бороду.

— Разве не слыхал? Народная власть теперь у нас — Совет!'

— Слыхал!.. Верно, старик, это праздник и большой.

— Я и говорю. Виданное ли дело — матросы-то нашу власть в свои руки взяли!

— Не одни матросы, а и рабочие, и солдаты.

— Я и говорю — народная власть! Ах ты, боже ж ты мой! Думали ли, гадали когда? Эх, нет Василия моего!..

До позднего часа сидели они за столом и всё говорили, говорили о том важном и чудесном, что вошло в жизнь. Простой народ сказал своё слово: он потребовал немедленного созыва Учредительного собрания, он потребовал установления 8-часового рабочего дня, выдачи пожизненной пенсии матросам, получившим на службе увечье, полной свободы матросов вне службы.

Мать давно ушла за перегородку, меня неудержимо клонило ко сну, а они всё сидели, всё говорили. Когда я поднимал от стола отяжелевшую голову, то видел в клубах табачного дыма их раскрасневшиеся, взволнованные лица, горящие глаза...

Глухим, прерывающимся от сдерживаемого волнения голосом отец читал листовку — воззвание матросов к солдатам Брестского полка, которую Федосеич принёс с собою.

«Братья солдаты! Мы не изменники и не грабители какие. Только не стало мочи у нас сносить дальше притеснения начальства и проклятые порядки российские. И мы все, как один, выставили требования, которые каждый из вас может прочесть. Мы требуем, чтобы солдат был признан человеком, чтобы улучшили нашу пищу и увеличили нам жалованье, чтобы уменьшили срок службы, чтобы обращались с нами по-людски, а не по-скотски, чтобы и солдатам были даны права...»

С какой удивительной силой звучали эти простые, от сердца идущие слова! Перечитываешь их теперь и слышишь страстную, вековечную мечту народа о правде, справедливости.

Отец поднял от листовки глаза и вытер тыльной стороной руки лоб. Старик сидел, навалившись грудью на стол, не сводя глаз с отца. Губы его беззвучно шевелились: он повторял про себя слова возвания.

«Мы требуем, наконец, — читал отец дальше, — со всем великим русским народом, чтобы немедленно было созвано Учредительное собрание. Пусть будут всем народом избраны представители, которые устроят русскую землю, которые одни смогут улучшить жизнь рабочих и крестьян... Наше дело правое, наше дело — не только солдатское, но и всенародное!..»

* *
*

На многих кораблях, стоящих на рейде, матросы поднимали красные флаги. Крейсер «Очаков» стал штабом восстания. Офицеры хотели разоружить «Очаков», но матросы воспротивились этому. Тогда офицеры покинули

восставший крейсер, и он оказался в руках матросов, выбравших командиром своего любимца — старшего баталера Частника.

Город был объявлен на военном положении. Отовсюду — из Симферополя, Одессы, Феодосии — командование стягивало контрреволюционные силы.

Мне было строго-настрого запрещено высовывать нос на улицу.

Но вот настал день, когда оказались бессильными самые строгие запреты, и я с утра сбежал из дому, несколько не заботясь о последствиях.

Это был памятный день 15 ноября. В этот день в 8 часов утра на «Очакове» взвился красный флаг и был поднят сигнал:

«Командую флотом. Шмидт».

Многие корабли, присоединившиеся к восставшим, отвечали сигналом: «Ясно вижу», и тоже подняли красные флаги.

Всё это происходило на глазах огромной толпы, собравшейся на Приморском бульваре. Весь берег Севастопольской бухты был заполнен народом.

Сюда, на Приморский бульвар, я и прибежал, услышав от приятелей-мальчишек, что лейтенант Шмидт поднял красный флаг на «Очакове».

Толпа почти целиком состояла из рабочего люда. Много было женщин, ребятшек. Все были возбуждены, обменивались впечатлениями, рассказывали друг другу новости. Вновь прибывшим объясняли, что происходит в бухте. В народе, заполнившем Приморский бульвар, чувствовалось какое-то дружеское единение, чувствовалось, что все одинаково переживают события. Из разговоров в толпе я узнал, что Шмидт прибыл на «Очаков» ещё вчера днём, после того как ему стало известно, что адмирал Чухнин объезжает эскадру с целью разоружить ненадёжные корабли и что полевая артиллерия окружила казармы.

В ночь с 14 на 15 ноября восставшие матросы стали захватывать корабли. К утру они завладели крейсером «Гридень», контрминоносцами «Скорый» и «Свирепый», тремя номерными миноносцами и несколькими мелкими судами. На них-то и развевались теперь красные флаги, и это было удивительное и незабываемое зрелище: на фоне бледного неба — день был холодный, туманный — ярко горели огненно-красные флаги — флаги борьбы и свободы!

Я прибежал на берег и присоединился к толпе как раз в то время, когда Шмидт, перейдя на миноносец, начал объезд всех кораблей, чтобы склонить их на свою сторону. Он останавливался около каждого корабля и призывал матросов присоединиться к восставшим. Вооружённые офицеры встречали его бранью и угрозами. Его легко могли убить, застрелить, но он продолжал своё дело. На некоторых кораблях взвивались красные флаги, но через несколько минут ползли вниз, и на их место снова поднимались белые полотнища с синим крестом. Толпа в напряжённом ожидании следила за этой борьбой.

Потом Шмидт перешёл на катер и направился к плувчей тюрьме «Прут» освобождать томившихся там уже полгода участников восстания на «Потёмкине». Освобождённых доставили на «Очаков», а Шмидт подошёл к бывшему «Потёмкину», называвшемуся теперь «Пантелеймон», и поднял на броненосце красный флаг. Одновременно с этим красные флаги взвились на канонерке «Уралец» и на «Пруте».

Гул одобрения прокатился по толпе.

Лица людей светлели, слышались радостные возгласы каждый раз, как на каком-нибудь из кораблей появлялся красный флаг. Забыв обо всём на свете, с напряжённым вниманием следил и я за тем, что происходило в бухте. Корабли сходились и расходились, между ними шныряли маленькие катеры, вспарывая зеленоватую воду и остав-

ляя за собой пенные буруны. Всё это казалось необыкновенным, исполненным особого значения, даже такое привычное зрелище, как белые чайки, с резкими криками кружившиеся над бухтой.

И вдруг в толпе я увидел Андрея. Я не мог ошибиться — это был он, в надвинутой на глаза фуражке, в стареньком пальто. Опираясь на палку, постукивая своей деревяшкой, он быстро прошёл мимо меня в сопровождении небольшой группы каких-то рабочих. Моим первым побуждением было броситься к нему, окликнуть его. Но я во-время спохватился. Что-то остановило меня... Я следил за ним глазами, пока он не скрылся в толпе. Хорошо, что он жив, здоров, что он здесь, с нами!..

Четвёртый час дня. Над бухтой нависла зловещая тишина. Что случилось?.. Казалось, всё замерло в ожидании чего-то: замерли корабли на рейде, замерла толпа на берегу, даже чаек как будто стало меньше...

Внезапно эту напряжённую тишину разорвал одинокий орудийный выстрел. Он прокатился над бухтой, эхо откликнулось ему далеко, за холмами. Как выяснилось потом, стреляли с канонерской лодки «Терец», стреляли по катеру, перевозившему из порта ударники к орудиям «Пантелеймона», разоружённого офицерами.

По приказу Шмидта, контрминоносец «Свирепый» атаковал «Терец», но по «Свирепому» открыл огонь броненосец «Ростислав», и «Свирепый» вышел из строя.

И тут началось!.. Выстрел «Терца» послужил сигналом. Ураганный огонь обрушился на восставшие корабли и флотские казармы. Грохотали выстрелы орудий береговых батарей и полевой артиллерии, гремели, выплёвывая огонь, орудия «Ростислава». Били пулемёты с Исторического бульвара.

В воздухе запахло гарью, над бухтой повисли густые белые облака порохового дыма, и в них что-то сверкало, гремело, трещало.

Главная сила огня была направлена на «Очаков». Ему сигналили от имени Чухнина: «Приказываю сдать-ся».

«Не сдамся», — отвечал «Очаков».

«Не сдамся!» — этот сигнал был понят всеми, собравшимися на Приморском бульваре, а тем, кто не понял сигнал, другие объяснили его. «Не сдамся!» Трудно передать, какое огромное впечатление произвели на людей эти два слова. Из облаков дыма и вспышек огня звучал голос отважного борца за свободу. И, казалось, ничто не может заглушить этот голос, даже непрекращающийся грохот орудийных выстрелов. «Не сдамся!»

Крейсер горел. Его окутывала тёмная пелена дыма. Внезапно снаряд разорвался на набережной. Толпа дрогнула, бросилась бежать. Бульвар опустел. Побегал и я, сам не знаю куда. Бежал долго. Остановился на какой-то тихой, заросшей травой улице. Ноги подкашивались. Я не мог больше ни идти, ни стоять. Сделав несколько шагов, повалился ничком в сухую пыльную траву на каком-то пустыре, на котором паслась белая безрогая коза. Сердце колотилось, во рту было горько, а перед глазами стоял горящий трёхтрубный крейсер, окутанный дымом, и на его мачте трепетал красный флаг. Там, в дыму, в огне, был этот высокий худой человек с усталым лицом, там был его сын, добрый, приветливый мальчик, там были его товарищи — матросы...

Лёжа ничком на траве, я плакал, размазывая по лицу слёзы. Не помню, что было потом, должно быть, я заснул, утомлённый всем виденным и пережитым. Когда я очнулся, уже стемнело. Поднялся, сел. С удивлением и страхом огляделся: «Где я?» Кругом тишина. Ни звука, ни огонька. Словно весь город вымер. А там, в той стороне, где бухта, стояло тусклое багровое зарево пожара. По небу пробежал бледный луч прожектора.

Мне стало страшно, я устал, озяб, болела голова и мутило от голода. Но я не подумал о том, что нужно идти

домой, где уж наверно мать была вне себя от страха за меня. Я встал и, пошатываясь от слабости, опять побрёл по направлению к бухте. На улицах — ни души. Изредка проходили быстрым шагом отряды солдат. Их мерный топот был слышен издалека. Я прятался в тень, прижимаясь к домам, и ждал, когда они пройдут.

Над городом стояло огромное тёмное и грозное облако дыма. Порой его рассекали голубоватые лучи прожекторов, и тогда казалось, что высоко в небе происходит беззвучная борьба каких-то крылатых, слившихся в клубок чудовищ.

Во́т и Приморский бульвар. Проход на него открыт. Так же, как и днём, здесь снова стоит народ.

С Приморского бульвара видна вся длинная бухта. Посредине бухты полыхает огромный костёр. Это «Очаков». Море кажется густым и чёрным, как смола. Весь крейсер в огне. Огнём не охвачен только его нос, освещённый пламенем пожара и белыми лучами прожекторов, направленных на него с броненосцев «Ростислав» и «Три святителя».

Внезапно раздаётся треск, похожий на выстрелы. Толпа на бульваре вздрагивает, но потом снова замирает в неподвижности. Это не выстрелы — это на «Очакове» лопается раскалённая броня.

На бронированной башне горящего корабля ясно различимы маленькие чёрные фигурки людей... До крейсера не очень далеко, и они отчётливо видны в ослепительном свете пожара. Может быть, и Шмидт ещё там?..

Я вслушиваюсь в передаваемые вполголоса рассказы о том, как матросы прыгали с охваченного огнём «Очакова» в море, как их расстреливали из пулемётов и винтовок, когда они подплывали к берегу или к другим кораблям, как Шмидт пытался спасти раненых и утопавших. Где он теперь? Никто не знал этого...

Только на другой день стало известно, что Шмидт с несколькими матросами и своим сыном покинул пылаю-



ний крейсер и перешёл на миноносец. Но вырваться из-под огня и добраться до берега ему не удалось. Выстрелом с «Ростислава» миноносец был подбит, и все были арестованы.

В молчаливой толпе на берегу происходит движение...

— Смотрите, смотрите-ка, братцы! — слышатся голоса.

Со стороны Графской пристани появляется небольшая лодка. Она отчётливо видна при свете пожара. Быстро скользит она по чёрной воде, направляясь к горящему крейсеру, оставляя за собой красную, словно кровавую, дорожку.

Голубой длинный луч прожектора рассекает темноту и останавливается, направленный прямо на лодку. Теперь лодка кажется серебристо-белой, как крыло чайки. Ясно видно в ней двух человек.

Один из них — какой-то молодой парень, а другой... Спазмы сжимают мне горло, я не могу вздохнуть, — в другом я узнаю Федосеича! Да, это он, это его коренастая, крепкая фигура, его седая круглая борода. Что задумали эти смельчаки? Лодка быстро удаляется от берега. Нет никакого сомнения: они плывут к «Очакову», они хотят спасти оставшихся на нём людей.

С берега раздаются выстрелы. Злобно трещит пулемёт. Молодой парень валится в лодку лицом вперёд. Старик продолжает грести.

— Дедушка! Федосеич! — кричу я во всю силу лёгких и порываюсь бежать.

— Куда, куда? Убьют! — слышу я незнакомый голос. Я пытаюсь вырваться, но чьи-то руки крепко держат меня. Последнее, что я помню, — это пустая лодка, покачивающаяся на волнах... Луч прожектора погас, и всё поглотила дымная, клубящаяся темнота, озаряемая порой багряными отблесками...

Севастопольское восстание в ноябре 1905 года потерпело поражение. Объясняется это прежде всего тем, что

в Севастопольском комитете РСДРП не было единого взгляда о необходимости восстания. Меншевики всячески тормозили развитие восстания, агитировали за превращение его в мирную экономическую забастовку. Сказалась и политическая незрелость восставших. У большинства матросов и солдат не было ещё ясного сознания необходимости свергнуть царское правительство. Один из главных руководителей восстания лейтенант Шмидт не примыкал ни к одной из политических партий: по своим убеждениям это был буржуазный демократ.

Однако несмотря на то, что восстание было подавлено, оно сыграло крупную роль в развитии революционного движения.

* *
*

Когда начался суд над Шмидтом и участниками восстания на крейсере «Очаков», а затем ранним весенним утром на пустынном острове Березань прогремели выстрелы, оборвавшие их героические жизни, нас уже не было в Севастополе.

Отца опять перевели в Петербург. Он стал работать старшим корабельным сборщиком на судостроительном заводе.

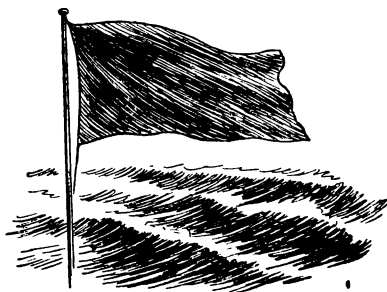
События, невольным свидетелем которых я был в Севастополе, произвели на меня неизгладимое впечатление. Теперь я уже ясно понимал, что есть два мира, два лагеря. В одном — бедные, обездоленные, рабочие люди, которые тяжёлым трудом зарабатывают гроши на нищенскую жизнь. В другом лагере — богачи, царь со своими войсками и полицейскими. Рабочие люди не на жизнь, а на смерть борются за свои права, свою свободу. А царь и богачи за это расстреливают их, вешают, сажают в тюрьмы. Я научился ненавидеть царя и богачей, всю чёрную свору угнетателей народа, как ненавидели их отец, мать и другие близкие мне люди.

И часто вспоминалась мне величественная картина, которую я видел с Приморского бульвара в Севастополе.

В бледной холодной лазури осеннего неба горделиво реет красный флаг на мачте крейсера первого ранга. «Очаков» — символ борьбы и победы.

Враги революции могли засыпать крейсер градом снарядов и сжечь его. Они могли расстрелять, угнать на каторгу, бросить в тюрьмы сотни и тысячи моряков — отважных борцов за свободу, — но победить, сломить их не смогли. «Не сдадимся!» — эти слова гордо и победно звучали в их сердцах, как бы трудно им не было порой.

И ещё вспоминались мне слова клятвы, слышанные мною на севастопольском кладбище: «Клянёмся, что всю душу и самую жизнь свою положим за нашу свободу!» И она, эта клятва, стала в дальнейшем главным содержанием моей жизни, определила собою весь мой жизненный путь.



ОГЛАВЛЕНИЕ

У самого синего моря	3
Письмо издалека	7
В северной столице	13
Дядя Фёдор	20
Первое зерно	30
Город русской морской славы	36
Настоящая работа	39
На строительстве корабля	45
Наш сосед	49
«Любитель бычков»	54
Революция началась, товарищи!	57
Первый корабль революции	62
Запретная книга	75
Лятва	83
Оставший крейсер	91

Редактор *М. В. Искров*

Художник *В. С. Бибилов*

Технический редактор *Н. В. Срибнис*. Корректор *Р. А. Рыбакова*

ГМ-516330.

Подписано к печати 5.03.52.

Изд. № 1/217

Формат бумаги 70X108^{1/32}—1,63 б. л.—4,45 п. л. Уч.-изд. л. 4,51. Зак. 2785.

Номинал по преёскуранту 1952 г.

7-я типография Управления Военно-Морского Издательства ВММ СССР

*Военно-Морское Издательство
просит читателей присылать отзывы об этой
книге по адресу: Москва, 104, Тверской
бульвар, 18, Военно-Морское Издательство.*